

А. СОЛЖЕНИЦЫН

СКВОЗЬ ЧАД

«БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ»,

отрывок из

Шестого Дополнения

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève

75005-PARIS

© World Copyright 1979, Aleksandr Solzhenitsyn.

© 1979 YMCA-PRESS pour l'édition en langue russe.

* * *

Когда появился „Архипелаг” — естественно ждал я, что правительство будет же как-то пытаться его опровергать. Не я один. И Ассоциация американских издателей наивно предложила тогда советским властям широко опубликовать в Соединённых Штатах любые опровергающие исторические материалы — ещё раньше, чем сам „Архипелаг” появился в Америке. Тщетное великодушие! Кроме бледной статьи Бондарева в „Нью-Йорк Таймс” да захлёбной ругани АПН’овских комментаторов ничего не родили тотчас.

Но вот отметно: они ничего не родили в опровержение и до сих пор, за пять лет. Миллионный, сытый, наддресированный, натренированный ленинско-сталинский пропагандистский аппарат оказался перед „Архипелагом” в полном параличе: ни в чём не мог его ни поправить, ни оспорить. В его распоряжении тысячи перьев, все архивы, какие только не сожжены, и времени протекло больше, чем я один работал над „Архипелагом” — а ответа нет как нет!

Потому что ответить — нечего.

Бросилось ЧКГБ трясти и вынуждать к опровержению уцелевших старых зэков. Однако во всём подвластном Советском Союзе никто не соблазнился, кроме единственного бывшего пламенного меньшевика-большевика М. П. Якубовича, так ужасно сломленного и обманутого ещё в процессе „Союзного Бюро”, а тут 85-летнего несчастного инвалида в бесправном инвалидном доме под Карагандой. Не знаю, дали ли ему прочесть весь первый том „Архипелага” или отрывки о нём самом — но уже в конце 1974 он написал для АПН статью против „Архипелага” и даже снялся в специальном фильме, тоже против „Архипелага”. Однако, стерильность марксо-ленинского аппарата кастрирует сама себя: Якубович остался нереабилитирован, а значит не может фигурировать как офици-

альный автор. (Впрочем, братец Медведев — тот, который отсиамился в Лондон, ещё вчинял от его имени „Архипелагу” иск.)

Наконец, за столько лет, к сегодня, сочинили ещё одну книгу.* И на её 215-страничном просторе узнаём мы, что Лубянка справедлива, добра, даже чутка, её следователи — „почтенные люди, интеллигентные манеры”. „Разве можно утаить пытку целых тысяч или полное исчезновение десятков тысяч людей? Нет, это невозможно. Нет и никогда не будет на свете такой службы государственной безопасности, которая сумела бы заткнуть рот всем.”

Увы, большевики всегда справедливо заявляли, что для них нет невозможного.

О рядовом лагерьке узнаём: „охраны почти никакой. Режим очень мягкий, никто никому ничего не указывает” и даже: „заклѳчѳнные испытывают здесь самое большое блаженство”. „В этапах и пересыльных тюрьмах довольно прилично кормят”. „Советские лагеря ни в каком смысле не были лагерями смерти”, а случилось — производственные бригады кормили даже... бутербродами с чѳрной икрой! (стр. 125)

Но кроме этого светлого соцреалистического очерка отваживается авторский коллектив спорить и лоб в лоб с „Архипелагом”. Ведь сидели ж они целым отделом пять лет над тремя его томами, что-то же надо выдать? А вот:

1. (Впрочем, опять из той же статьи в „Нью-Йорк Таймс”, за пять лет не разбогатели.) Я пишу: „Штрафные роты стали цементом фундамента сталинградской победы”. Так вот, — „может быть капитан Красной Армии Солженицын не знает, что штрафные роты были вооружены лёгким оружием, а отнюдь не автоматами?”, то есть посылались на безответный убой? Может быть он не знает, что под Сталинградом действовали мощные бронетанковые силы и армия Чуйкова?

А всего-то надо уметь читать. Июнь и июль 1942 года южная часть нашего фронта откатывалась опять безоглядно, как в 1941. И после сдачи Ростова сталинским прика-

* Томаш Ржезач. „Спираль измены Солженицына”. Изд-во „Прогресс”, М, 1978

зом № 227 (июль) созданы были (и стали быстро набираться) из бегущих — штрафные роты. И безвыходный страх перед ними пересилил фронтовую панику. Так штрафные роты стали *цементом фундамента* победы.

2. „В 1918 году вообще не было НКВД (как Солженицын называет), НКВД был создан только 10 июля 1934 года, и никакой „Вестник НКВД” в 1918 выходить не мог. И в этом весь Солженицын, он занимается выдумыванием.” (173)

И в этом — весь гебистский коллектив. Ай-ай-ай, какой позор, не знать истории собственных родных Органов, сосцов, которыми питаешься. НКВД преотлично существовал с ноября 1917, и наркомом его был Григорий Иванович Петровский. (Поищите в своих библиотеках лучше — и „Вестник” найдёте.) Но Феликсу Эдмундовичу такое раздвоение действительно не нравилось, и он подмял НКВД под ЧК: с 16 марта 1919 стал по совместительству также и наркомом внутренних дел. А позже и вовсе этот наркомат проглотил. Да впрочем, это в „Архипелаге” и написано (том II, стр. 22), читать надо.

3. Изумляются цифре 66 миллионов погибших (по Курганову, „Новое русское слово”, 12 апр. 1964 — от всей внутренней войны правительства против народа, до 1959 года). Складывают с военными потерями и спрашивают: так что, 105 миллионов погибших к 50-м годам? Откуда же в 1975 взялся почти 250-миллионный советский народ?

Оттуда взялся, что в XX веке все народы, не подпавшие под коммунизм, сильно выросли. И Менделеев рассчитывал нам уже к 50-м годам быть более 300 миллионов. Но из-за наших потерь нечеловеческих мы этого не набрали. Ныне историк-экономист М. С. Бернштам (в своей книге „Демографическая и биосоциальная революция в СССР”, подготовляемой к печати) вычислил, что с 1917 по 1956 от террора, подавления повстанцев, принудительного труда и искусственно вызванных голодов (без потерь 2-й мировой войны) уничтожено в нашей стране свыше 55 миллионов. Цифры других исследователей близки к тому.

4. Ну, ещё напирают: что это за пересказы о смертных пытках с чужих слов? Почему воспоминания пишут не те самые, кого запытали насмерть?

Так Александр Долган и сам, едва не с того света, напечатал в Америке. И другие книги недоморенных тоже появляются.

И вот — всё, что за 5 лет наскребла Советская Власть против „Архипелага”.

Зато с первых же дней потянули другим путём, полегче — против автора: как бы заляпать, зашлёпать его — тогда и „Архипелаг” заржавеет.

Но и против меня — вот времена... Даже находился я в границах полного физического владения КГБ, их сил уже как бы не хватало, и они привлекли на помощь — клевету. Сперва, ещё до „Архипелага”, это была клевета с закрытых партийных трибун: любую чушь обо мне там можно было беспрепятственно изрекать и изрекали, рассчитывая создать общественное мнение таким способом, какой нельзя ни поймать, ни опровергнуть публично — но и не входит она печатными буквами в глаза той части населения, которая и знать обо мне не должна. Так, я уже писал, годами беспрепятственно обвиняли меня: что я сдался немцам в плен; что я сдал целую батарею; что я служил у оккупантов полицаем; служил в гестапо; что Нобелевская премия — это иудина плата за предательство своей родины. И ещё одна заманчивая дорожка — еврейский вопрос, но тут сразу же лакающая жажда их раздвоилась, и они не могли выбрать, какой путь обещает больше: то ли я замаскированный еврей Исаевич Солженицкер, слуга мирового сионизма (говорили так много на лекциях), то ли антисемит-погромщик, „монархо-фашист”.

Но — и это ничто не прилипло, всё рассеялось.

А тут — грянул „Архипелаг”. И уже, теряя осторожность, надо было объявлять меня и всем тёмным массам. Поспешно выпалили, что у меня — бездомного, не прописанного, с рюкзаком догоняющего электрички, — три квартиры, загородный дом (как у них у всех) и три автомобиля. Для страстей мещанских это была хорошая затравка, такого хоть и растерзай. Но дни текли, надо было скорей что-нибудь и для заграницы, и АПН поспешно вы-

двинуло против меня — моего бывшего однодельца Виткевича.

Бой тогда шёл не подневный — почасовой, и на поделку АПН я ответил через несколько часов же.

(Моё заявление 2.2.74, „Бодался телёнок с дубом”, ИМКА-пресс, Париж, 1975, стр. 618)

„... Защита мирового общественного мнения пока не даёт ни убить автора, ни даже арестовать: то было бы лучшим подтверждением книги. Но остаётся путь клеветы и личной дискредитации, за это теперь и принимаются дружно. Вот вызван из провинции мой бывший одноделец Виткевич, и, сохраняя свою научную карьеру, он через АПН, этот испытанный филиал КГБ (они ему „дружески показали” протоколы следствия 1945 года, пошёл бы кто добился другой!), похваливает следствие тех времён: „следователь не нуждался искажать истину”. 29 лет он не ставил упреков моему поведению на следствии — и до чего же вовремя попадает теперь в общий хор. Отлично знает он, что от моих показаний не пострадал никто, а наше с ним дело было решено независимо от следствия и ещё до ареста: обвинения взяты из нашей подцензурной переписки (она фотографировалась целый год) с бранью по адресу Сталина и потом — из „Резолюции № 1”, изъятной из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавшей наш государственный строй. Вспоминает мои „показания на суде”, а надо мной и суда не было, заочное ОСО. Верно пишет он, что мы „принадлежим к разным людским категориям”: настаивал он на забвении всех смертей и мук, своих и чужих. Да это только начало. Вот выловят, заставят лгать свидетелей, попутчиков, встречных моей полувекковой жизни. Вот и из бывших эков, недострелянных, недомученных, выжмут заявления, что они не страдали, что их не пытали, что не было Архипелага.”

(А впрочем — не выжали, посегодня.)

Через 10 дней меня выслали. Чёртовы когти не вонзились, но зашвырнули далеко. Так я выброшен был из сферы их полной власти, и впредь, если когти, то надо было клепать многосоставные. А что оставалось в их силе бесперебойно — теперь уж только клевета. Сперва они надеялись, что я за год обращусь на Западе в ноль, в забытое ничто. Когда ж увидели, что „Архипелаг” читается сверх ожиданий в миллионных тиражах, что я — не стёрт, не уничтожен — с новой силой и уже на многие годы схватились за клевету.

Однако, тут испытали они историческое наказание: из-за того, что советский аппарат за десятилетия изверг из себя слишком много яда — консистенция его разжижи-

лась, изобретательность скорпионовых мозгов понизилась. А ко мне они уже и применили ведь: соцпроисхождение, нацпроисхождение, и небылой плен, и гестапо, — а за всем тем вот теперь уже ничего не могли придумать позорнейшего, как... сотрудничество с ними самими! помощь — им самим! (Уже дозрели они до понятия, что в людских глазах сотрудничество с советским режимом позорно.)

С другой стороны, в противостоянии художнику этот ядоносный аппарат имеет превосходную позицию (как, впрочем, и всякие недобросовестные враги): художник по природе своей откровенен предельно и даже запредельно.

В „Архипелаге”, да и не только в нём, я не щадил себя, и все раскаяния, какие прошли через мою душу — все и на бумаге. Даже — просто об офицерском состоянии, которое во всеобщем быту воспринимается слишком естественно, даже — о гипотетических возможностях: что бы могли сделать из меня и подобных мне. В этом ряду я не поколебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи, присвоили кличку „Ветров”, — хотя ни разу я этой кличкой не воспользовался и ни одного доноса никогда не написал. Я и нечестным считал об этом бы умолчать, а написать — интересным, имея в виду множественность подобных вербовок (даже и на воле, ряд случаев знаю), из которых может быть и две трети остаются потом без движения. Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах, показать: что можно из человека сделать. Показать, что линия между Добром и Злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. В том же моём заявлении перед высылкой я и объявил об этом своим врагам:

„У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств, сегодня тайком нарасхват читающих „Архипелаг”, нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить их угодники. В этом — и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию.”

И теперь, уже зная, как все враги собачьими зубами накидываются на всё, что я о себе открываю, — приведись мне писать всё сначала, я снова написал бы то же. И надеюсь держаться этого до смерти.

А у ЦК, у КГБ не только этого уровня понимания нет

и не было, и не будет (и не за чем!) — но даже нет простого образумления: с чем можно высунуться, не влипнув. Зудило их, как же не использовать такую подсказку: лагерный стукач! То б ещё им искать ухватку — а вот сам подал.

Тут придётся вспомнить ещё один их прежний минный подкоп, о котором я раньше не писал, узнал только в Европе, в 1974. Оказывается, среди их подготовляемых петель на меня была и такая: в 1972 от моего имени и моим подделанным почерком они вступили в переписку с бывшим капитаном русской императорской армии, ныне председателем зарубежного Русского Национального Объединения В. В. Ореховым — то есть, как в СССР называется, отъявленным белогвардейцем. Тщательно моим почерком (что за умельцы! и даже с воспроизведением особенностей его тех лет) и даже по возможности моим стилем (используя готовые обороты из других писем, да не лентясь выписать и Бога с большой буквы, призвать лишний раз) они мило писали ему — сперва, что я прошу об исторических материалах для Узлов (и он доверчиво посылал их по чехословацкому кагебистскому адресу), затем — приглашаю его на встречу со мной в Чехословакию (!) для выработки общего понимания и тактики (и Орехов едва лишь не поехал, что-то остановило). Схватили б они его в Чехословакии — вот и моё участие в международном белогвардейском заговоре, был бы ещё процессик! Но Орехов не поехал, тут выслали и меня — затея ГБ угасла. Однако Орехов прикатил ко мне в Цюрих на правах старого знакомого — и то-то поразил меня „моими письмами”. Хотя дело было уже прошлое и беспоследственное, но чтобы гебистам лишнюю повадку не давать — решил я это всё пропечатать, и с образцами почерков.*

Одначе, у КГБ если что и красное — то пальцы, то руки по локоть, отнюдь не щёки. И публикация моя не надолго их отвадила. Да и не распускать же им свой превосходно налаженный графологический отдел. И вот снова долго составляли, долго готовились. (Нетерпеливая Гали-

* Журнал „Time”, 27 мая 1974

на Серебрякова, тоже лагерный эпик, только с другой стороны, о подготовке знала и уже хвасталась в московских литературных гостиных: „Ну, готовится против Солженицына бомба, этой он не вынесет!” — беспроволочно это тогда же донеслось ко мне в Цюрих и даже дважды, всюду друзья.) Наконец, готова была бумага: письменный донос бесценного Ветрова, не много, не мало — на подготовку (движение стихии, бурю) экибастузского мятежа в январе 1952. Удар был спланирован, как всегда, в несколько луз: ещё поссорить и с западными украинцами.

Но на самом выходе непредвиденная запинка: а как же теперь эту великолепную бумагу опубликовать? Ну, находку ещё можно было объяснить: благородное КГБ то и дело проверяет, очищает свои архивы и извлекает вон всякие недостойные доносы. Но как советской власти самой опубликовать, да в виде упрёка, донос, поданный ей же во благо? Очевидно, надо искать подставное лицо — и искать среди иностранцев, ибо в Советском Союзе нет частных действующих лиц, все — официальные. Впрочем, поиск такого лица обычно не бывает сложен: все передовые западные страны кишат ещё более передовыми перьями и услужниками, наперебой готовыми выполнять любой заказ советских властей. (Они же не представляют, как этот режим отутюжит и их равно с другими, когда доберётся до их территории.) И подсунули им такой сюжет: какой-то неизвестный эмведешник, просматривая старые лагерные архивы, среди тысяч доносов почему-то (никто ему не поручал) обратил внимание на донос не известного ему Ветрова, давностью 22 года, — извлёк его из папки (служебное преступление?), и передал — не начальству, но каким-то вольным кругам, легко общающимся с иностранцами.

Всё было готово весной 1976. КГБ, не зная, что я уже навсегда уехал из Швейцарии (не всё вовремя знает и КГБ), направило свою подделку именно в Швейцарию. И вот один швейцарский журналист написал мне в Цюрих письмо: что ему среди других документов представили вот такой, очевидно большого интереса, копию посылает мне, но прежде, чем его напечатать, он, по добросовестности журналиста, хотел бы знать о нём моё мнение. (Затем он сообщил мне, что подбрасывалось целое собрание таких

подделок, часть — через „видного функционера ГДР”, увы, не назвал его имени, часть — через мою бывшую жену Решетовскую.)

Бумага нагнала меня аж в Калифорнии. Почерк был очень хорошо подделан и опять-таки применительно к 1950 году (у Решетовской сохранились мои письма того времени) — хотя и допущены были ошибки, один ляпсус — на самом видном месте, это уже от излишней самоуверенности графолога. Были передержки и в языке, но главное — в лагерном быте, в сюжете (ведь это так трудно сочинять!), и самая крупная ошибка: „донос” — на украинцев, все фамилии — украинские, вот встречи сегодня, вчера — а нас-то с украинцами за 2 недели перед тем разъединили в разные зоны, — ну где же чекистам через 20 лет это всё знать?..

Однако, все эти наблюдения я оставил про запас, предполагая публичный спор, а сам — немедленно в те же часы передал фотокопию их фальшивки всем желающим телеграфным агентствам, сопроводив заявлением.

Стэнфорд, Калифорния
18 мая 1976

За 14 лет моих публикаций весь бездарный пропагандный аппарат СССР и все его наёмные историки не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами: потому что ни мыслей, ни фактов у них нет, всегда одна ложь. Теперь КГБ по своей жульнической ухватке приготовил фальшивку, помеченную 1952 годом — будто я тогда доносил чекистам о революционном лагерном движении. Эту фальшивку начали подбрасывать иностранным корреспондентам, один из них переслал мне такую ксерокопию.

Хотя КГБ уже был однажды пойман на подделке моего почерка — никогда не бывшей моей переписки с эмигрантом В. Ореховым (журнал „Тайм” в мае 1974 привёл по строчке сравнения моего истинного почерка и успешно подделанного, а у меня на руках — полные письма, подделанные КГБ, по несколько страниц) — они снова, не боясь позора, пошли по тому же пути. Для этого при содействии моей бывшей жены использовали комплект моих писем к ней лагерного периода (этими письмами КГБ уже тайно торговал на Западе, копии в моих руках) и, насколько могли, старательно подделали мой почерк того времени. Но, оставаясь на своём уровне, спущенном от людей к обезьянам, они не смогли подделать образа выражений и самого меня. Это различит всякий человек, кто читал „Ивана Денисовича” или „Круг” или положит „Архипелаг” рядом с их жалкой клеветой. Сочинители фальшивки допустили просчёты и в лагерных реалиях. Третий том „Архипелага” передаёт огненный

дух тех дней экибастузского мятежа, к которым осмелилось теперь приурочить свою подделку КГБ. Будет время — обретут свободный голос и мои солагерники того времени, украинцы, — высмеют они эту затею и расскажут о нашей истинной дружбе. Ложь КГБ так и составлена, чтобы внести раздор в единомыслие Восточной Европы: объединения наших сил больше всего и боятся коммунисты.

За 60 лет коммунистическая власть в нашей стране пристрастилась ляпать всех, кого травила: что они — агенты охраны или сигуранцы, или гестапо, или польской, французской, английской, японской, американской разведки. Этим дурацким колпаком покрывали решительно всех. Но ещё никогда власти нашей страны не проявляли такой смехотворной слабости, отсутствия опоры, чтоб обвинить своего врага в сотрудничестве ... с ними самими! с советским строем и кроворощенной его ЧКГБ! При всей советской военной и полицейской мощи — какое откровенное проявление умственной растерянности.

И — ждал. Ждал, что начнут — доказывать, настаивать, другие подделки совать.

Нет! Трусливо подобрали растянувшийся хвост. Вместо бомбы вышла хлопнушка.

И я тогда заключил: ну что ж, знать хорошо стукнул по рукам, отбил охоту снова и снова соваться по одному и тому же битому пути.

Как раз ещё так получилось, что после сложного переезда, трудного устройства, привыкания ещё к новой жизни и в полногонной работе над „Красным Колесом” я больше двух лет не выступал публично, не было свежих столкновений — и ГБ тоже как будто не цепляло меня прямо.

Но теперь я узнаю, что ничего подобного. Что особенно после моих американских речей 1975 года „мой” отдел на Лубянке, коллектив чиновников и перьев, не только не дремал, но занялся, наконец, непримиримым и окончательным моим уничтожением. Такой методической научной работой: подменить этого Александра Солженицына от предков до потомков, смыть его нацело, каким он в жизни был. Как переклеивают клетки мозаики, сменить все клетки до единой — и выставить взамен искусственного мёртвого змея из составленных чешуек. Переклеивали — не ленились. Сменён мой дед, сменён отец, сменены дядья, сменена мать, лишь затем сменены дни моего детства и юности, и взрослости, подменены все обстоятельства, все мотивировки моих действий, детали поведе-

ния — так, чтоб и я был — не я, и жизнь моя никогда не была жита. И уж конечно, подменён смысл и суть моих книг — да из-за книг всё и затеяно, не я им нужен. (И только лучшей своей бомбы — вот этого уже сованного „живого“ доноса — даже не вспоминают, хотя „Ветров“ на целую главу.)

И вот, наконец, их исследование появилось отдельной книжкой (неся двойное, для верности повторённое, жёлтое тавро на собственном лбу), под автором Ржезач (иностранец, хорошо!), издательство „Прогресс“, ускоренным пролётом через типографию (от сдачи в набор до подписания к печати 10 дней), а тираж — скрыт, может быть ещё и не решён, как не решена и цель: рискнуть ли продавать советским читателям (и тогда внедрить в их умы змейное заклятое имя)? Пока решили распространять через спецотделы среди столичной публики, которая всё равно уже порчена, моё имя знает. А на Запад — толкать ли только эмигрантам, бесплатным подарком? или рискнуть переводить на языки? Да не подаст ли Солженицын на те издательства в суд?

В суд — не подам, могу их успокоить. Правоту нет нужды взвешивать с нечистью на юридических весах. Да и кто же судится с советским Драконом? (Да и он нас в лагерь посылал без суда.) Не найденных, не выхваченных или уже пробованных да не сломленных свидетелей моей жизни — сотни, потому что и жизнь моя реально — была, как ни подменяй все клеточки. Но все эти свидетели — под советской завинченной крышкой, и не могу же я их вытаскивать на расправу.

А когда придёт время говорить безбоязно — так кого-то и в живых уже не будет?

В том и особая успешливость клеветы, когда её ведёт коммунистическое государство: в открытом обществе всякая клевета может встретить возражения, опровержения, встречные воспоминания, публикацию документов, архивов, писем. Под коммунистическим сводом ничто подобное не возможно: возразить негде, и одно движение в пользу оклеветанного грозит гибелью и защитнику.

Не я первый. Все враги большевизма до единого были оклеветаны этой ядоносной властью ещё при её становлении. Затем в СССР был оклеветан каждый осуждённый,

сколько-нибудь известный, — от Пальчинского, Шляпникова, профессора Плетнёва до Огурцова и Александра Гинзбурга в наши дни. И над многими мы трудились и трудимся, чтоб очистить их.

Итак — отвечать ли мне теперь? Против меня кто только ни писал за эти годы — я никому не отвечал, я работал своё. И то же АПН два сборника клевет про меня распространяло на многих языках бесплатно — я не отвечал. Но представить наших соотечественников сейчас: кто захочет обо мне что доподлинно узнать — он в Советском Союзе не достанет же ни „Архипелага“, ни „Телёнка“, а только издательство „Прогресс“. А со смертью моей и ещё многое канет — и тем более присохнет. Ведь — кто клеветает? Самая могучая сила в современном мире, имеющая немалые шансы распространяться.

В борьбе никогда не знаешь, куда тебя враги затянут. 11 лет назад я начинал у себя в Рождестве эти очерки современной литературной борьбы. Вот уж не мог предположить, что через 11 лет вынудят меня, уже на другом континенте, перевести страницы этой книги на моё дальнейшее-предальнее детство и прошлую жизнь в подробностях, всю вывернутую врагами.

Это — как смрадно-клубливое недогоревшее пожараще, через которое ты идёшь и идёшь годами, и одежда твоя, и кожа, и волосы всё пропахиваются и пропахиваются, и долго ты просто отмахиваешься как от помешного пустяка. Но в какой-то момент вдруг понимаешь, что неизбежно начать отмываться, оттираться, иначе это въестся, останется на тебе до смерти и даже после смерти, и на сыновьях, и на внуках твоих.

Конечно, говорит пословица: быль — как смола, а небыль — как вода. Так и понадеяться: само отпадёт, не пристанет. Но иной другую пословицу вспомнит, хоть и над Прогрессом: что, мол, дыма без огня не бывает. Ведь это сколько лет надо с чекистской породой перепестоваться, чтобы верно знать: у них — дым получают химическим способом.

Так кто же этот Ржезач? Это — чех и отчасти даже диссидент: в 1967 присутствовал на чехословацком бун-

тарском писательском съезде, в 1968 вместе с вольнолюбивыми чехами хлынул в эмиграцию (тогда ли уже имея задание от ГБ или позже его получив), вместе с ними 7 лет негодовал на советскую оккупацию, затем исчез в одну ночь из Швейцарии, а через сутки выступал по чехословацкому радио, понося эту эмиграцию и деятелей её и все подробности её жизни. По-русски это называется: перемётная сума. Собственно, для понимающих людей, рисунок автора уже и закончен.

Да и сам он открывает книгу „глубокой благодарностью Союзу писателей СССР, Союзу журналистов СССР, Агентству печати „Новости“, „Интуристу“, „Совтуристу“ и всем советским гражданам, которые отнеслись с необыкновенным радушием“, бестрепетно „любезно принимали“ иностранца и охотно давали интервью под стенографистку или магнитофон. Не упрекните, что Сумá неблагодарно пропустил ГБ: оно — в каждом из этих учреждений сидит, а ещё беседовали с ним и прямо пенсионеры КГБ — даже „в нарушение служебного долга“, и — „представители советского правосудия“.

Однако я вынужден продолжить, что этот ржец, этот лжец пишет книгу, оказывается, не как посторонний учёный биограф, но (сразу же объявляет нам „Прогресс“, на первой странице): он „принадлежал к узкому кругу друзей Солженицына, более того, был его сотрудником. Достаточно хорошо узнав писателя...“, и сочинив много тетрадей „Беседы с Солженицыным“ (есть такая сноска у него, стр. 108) и оттуда уже сам себе приводя „цитаты“ — теперь, наконец, он печатает и эту жёлтоклеймёную книгу.

Вот, привыкай, не привыкай к чекистским ухваткам, а до конца всё равно не привыкнешь! Ну всё-таки, не может же человек придумать знакомство, если его в о в с е никогда не было? Если он по всей книге разбросал, как заливался со мною в беседах, то „сидел рядом за столом“, то я его „грубо хватал за пуговицу“, то собирался он мне продать холодильник, то „в одну из наших встреч Солженицын сказал мне“, то „в первые дни знакомства я был просто очарован“, а именно: лауреат в гостях „сидел в филигранном кресле Людовика XV“ (в квартире, „обставленной модерн“), на нём были ботинки, напоминающие

лапти царских времён, на лице его были чахоточные пятна, он звучно прихлёбывал чай, никому в комнате не позволяя пить расставленные огненно-золотистые вина, никому не позволяя задавать вопросов, сам гортанно выкрикивал с широкими пророческими жестами, — ну как же вообразить, что этот лжец никогда не сказал со мной ни единого слова, не был знаком, не пожал руки, не встретился взглядом, не то чтобы там — близким сотрудником или приятелем? Даже видел ли он меня издали в толпе — тоже вопрос. Три раза я появлялся в собрании чехов: один раз у супругов Голубов, вскоре после высылки, в марте, — и эту встречу он больше всего и расписывает, хотя там не был, да ещё и, пренебрегая памятью тридцати человек, переносит её с марта на май; второй раз — в картинной галлерее (и её переносит с марта на апрель); а третий — на массовом митинге на площади в 6-ю годовщину оккупации Чехословакии, может быть там в темноте он и был. (Я допускаю, что он и Хозяев обманул: чтобы книжку эту именно ему поручили — он и им соврал, что был моим приятелем. А так как его местонахождение всегда было Хозяевам известно, и на мартовскую встречу к Голубам и в галлерею он по времени не попадал — вот он их и перенёс.)

Но что правда — очень добивался познакомиться, фрау Голуб уж так за него ходатайствовала! (О самих Голубах, повышенно любопытных и избыточно осведомлённых, тоже получали мы предупреждения из самой Чехословакии, затем и от швейцарской полиции.) Она ходатайствовала: замечательный чешский поэт, и мечта его — перевести на чешский „Прусские ночи“; правда, русский у него не силён, но мы ему подстрочник сделаем. Ну, пусть попробует. Но для этого он должен с вами встретиться и познакомиться, он так жалеет, что не попал на нашу встречу. Нет. Прошло время: переводит! но должен с вами познакомиться! Не сейчас. Так и отвёл я, в глаза не видел. Вдруг настояния участились, участились — затем приходит фрау Голуб с большими глазами: „Исчез. Жена в отчаянии, труп ищут в Цюрихском озере.“ А через день взбурлила вся чешская колония: выступил по пражскому радио! (То-то так и торопился познакомиться.)

Но поэту-комбинатору не так трудно и сочинить. На-

ружность мою? — брать с фотографий, их много. Что я ему говорил? — тянуть из моих книг. И во многих случаях он так и подставляет кусками, чуть переиначив — из „Телёнка”, из „Письма вождям”, или модулирует „Из-под глыб”. Лишь более интимное, глубоко-приятельское придумывает сам: „Поеду в Соединённые Штаты, хочу уничтожить Фулбрайта и [часть] сенаторов”. Но чего Сума не вытянул — это быта моего семейного и дома. Ещё когда я где-то ездил, то можно уследить по газетам, и: „в Америке Солженицын посещал учреждения, которые так или иначе подвластны ЦРУ” (именно: профсоюзный центр, Сенат, библиотеку Конгресса, Колумбийский университет, Дивеевский монастырь и Толстовскую ферму). Но — когда я в Цюрихе и дружески с ним общаюсь? Вот тут, не обессудьте, ничего не мог придумать Сума — ни единой комнаты в моём доме, ни домашних, ни мебели, не наскрёб ни осколка. И сочинить мог только стандартно-детективное: задёрнутые занавески машины, в сопровождении двух чехов-телохранителей (ни занавесок никаких, ни телохранителей никогда) уезжал „каждое утро на дачу”, место которой „держалось в строжайшем секрете даже от жены”. (Только в журналах печатались корреспондентские фотографии наши с ней там, да на Четвёртом Дополнении „Телёнка” подписано Штерненберг.)

Так мой „сотрудник по Цюриху” чего совсем не берётся рассказать — это о Цюрихе.

Зато обо всей остальной моей жизни — лавину. Правда, извините, не по порядку: „Что-то мне не захотелось писать биографию такого низкого человека, как А. Солженицын. И несколько изменив литературную форму... я отказался следовать строгой хронологической последовательности.”

О да, конечно. Так — насколько же легче! Ось времён — это непроглотный стержень, его не согнёшь, не угрызёшь, не пропустишь, вечно привязан к этим точным датам, точным местам, пришлось бы описывать совсем ненужные периоды — как выбивался на фронт из обоза, или как умирал в раковом корпусе, ссыльный и покинутый близкими.

И Сума избирает такой приём: поэтический хаос. Одни и те же эпизоды в разодранном виде разбросать по раз-

ным частям книги, чтоб их казалось много похожих и не было бы охотников взяться за труд — снова их собрать и сопоставить. И одни и те же заклинания в разных местах повторять и повторять для убедительности. На свободе от хронологии и системы — все построения Сумы. Но упрощая задачу читателю, выделим всё главное, что удалось ему открыть:

1. Дед — грозный тиран округа, таинственно исчезнувший.

2. Отец — белогвардеец, казнённый красными.

3. Дядя — разбойник.

4. Солженицын рос с детства припадочный.

5. С детства же — антисемит.

6. С детства же — патологический честолюбец.

7. Трус. „Самый трусливый человек, которого когда-либо знали.”

8. Вор.

9. Развратник.

10. Писатель-предатель.

11. Сел в тюрьму нарочно: хитро подстроил собственный арест в конце войны.

12. Старался засадить в тюрьму друзей и знакомых (но КГБ никого не тронуло из доброты и мудрости).

13. Весь лагерный срок — ретивый стукач.

14. Лицемерно искал одиночества под предлогом писательства.

15. Все книги, особенно „Архипелаг”, написаны из злобы и честолюбия.

16. „Для солженицынского литературного метода типична конъюнктурная ложь.”

17. Мерзким трюком соблазнил почтенное КГБ захватить свой литературный архив.

18. Подлым приёмом уклонился от поездки за Нобелевской премией.

19. Хитрым манёвром вынудил КГБ захватить спрятанный „Архипелаг” — и так заставил выслать себя из Советского Союза.

20. „Во всём, что говорит и пишет Солженицын, проявляются верные признаки душевной болезни. Представляет интерес лишь для психиатра.”

(Последний диагноз — был бы очень подходящий, только

до высылки.)

Далеко-далеко ещё не все результаты исследования, но главные — тут.

Теперь — метод доказательств. Он напоминает дореволюционный юмористический спектакль „Вампука”. Например, там показывалось бесконечное гордое оперное шествие воинов таким образом: всего была их полдюжина, они величаво прошагивали по сцене, а потом за кулисами, согнувшись, но видимо для зрителя, быстро трусили в затылок заднему.

Так и у Сумы. Собирать бы всех свидетелей жизни Солженицына — это необозримо, из сердца выбьешься, сколько лишних имён, не всех и найдёшь, а кого стал бы спрашивать — ещё подходящее ли покажут? Ещё не побрезгуют ли с тобой разговаривать? Как бы для осторожности обойтись полдюжиной? И вот среди особенностей фантастически-зловредного Солженицына открыл Сума такую: всю жизнь его сопровождали только школьные друзья: Кирилл Симонян, Кока Виткевич, Шура Каган да жена Наташа Решетовская. А за этим кругом не было у Солженицына ни студенческих однокурсников, ни профессоров, никто с ним не воевал в одной части, не знали его ни десятки офицеров, ни солдаты. Не знали его ни однокамерники, ни однолагерники, ни односыльники, ни учителя, ни ученики по школам, где преподавал, ни знакомые литературных лет (только разве Лёва Копелев). Нет, правда, одну однокурсницу Сума всё-таки нашёл: запомнил её редкое имя Мария, а отчества, простите, не запомнил, а что у людей ещё бывает и фамилия, Сума вообще не знал, так тем более не спросил, даже и не извиняется (стр. 111). Зато эта Мария рассказала чрезвычайно ценный эпизод из юности Солженицына: как она ему рассказала сказку о крокодиле и скорпионе (скорпион — разумеется, Солженицын). Вот и всё. Зато уж те, школьные, друзья — пойдут теперь через всю книгу. Они — проверены, обо всех заранее известно, что согласны, что сотрудничают (Виткевич давал несколько интервью, Симонян — собственную брошюру против Солженицына написал, Решетовская — книгу, а сейчас благодарит её Сума за любезное разрешение строить на той книге и новое повествование).

Но опорочить человека только с детства и только по

смерть — этого тоже недостаточно. С тех пор, как марксистское мышление стало господствующим в нашей стране, техника опорочения всегда начинается с родителей и прародителей. Этому рецепту следует и Сума. Но по материнской линии не так привяжется, фамилия не та, и потому Сума минует деда по матери, Захара Фёдоровича Щербака, действительно богатого человека (впрочем, пастуха из Таврии, разбогатевшего на дешёвых арендных землях северо-кавказской степи) и которого действительно многие знали на Кубани в округе, со стороны щедрой и доброй (после революции 12 лет бывшие рабочие его кормили). А всё имущество его — 2000 десятин земли и 20 тысяч овец, приписывает Семёну Ефимовичу Солженицыну, рядовому крестьянину села Саблинского, где таких богатств и не слышали никогда, и приписывает ему же 50 батраков (когда с хозяйством он управлялся сам и четыре сына): „человек, прославившийся своей жестокостью далеко за пределами собственного поместья” (то есть, хутора, а жестокостью — к своим детям? к домашним животным?), „крупный землевладелец, который мог позволить себе всё” (и что же именно? оказывается: отдать младшего сына в гимназию, потом отпустить в университет, — всё та же дремучая ненавистная легенда, что в России учиться могли только дети богачей — а в России учились многие тысячи „медногрошевых” и многие на казённое пособие). Но — что бы ещё о нём солгать? — ведь всё-таки, дед по отцовской линии — это славное будет пятно. Но — что солгать о старом крестьянине, не выезжавшем из своего села? И сочиняет гебистский коллектив: „После Октябрьской революции он долго скрывался и затем исчез бесследно.”

Ври на мёртвого! Семён Солженицын как жил в своём доме, так и умер в нём — в начале 1919 года. В Саблю Сума не ездил (туда автобус очень тряский), не узнавал: менее чем за год семью Солженицыных тогда посетило четыре смерти („беда по беде как по нитке идёт”) — они начались со смерти моего отца 15 июня 1918 года, и в этой быстрой косящей полосе выхватили другого сына, Василия, и дочь Анастасию и старика-отца.

В семью Солженицыных настолько Сума не вникал, что даже не знает ни имён братьев, тем более сестёр, ни —

сколько их было (хотя и в „Литературке” печатали). Но о каком-то брате, „мне к сожалению не удалось установить ни даты его рождения, ни даже его имени”, пишет: „он был бандитом. Выходил на большую дорогу, чтобы грабить путников и повозки. Никто никогда не узнает, как он кончил.” Впрочем: „это лишь неподтверждённое предположение” (стр. 24).

Ай, Сума, но зачем же неподтверждённое предположение в такой научной книге? Ведь оно не украшает. Два оставшихся брата Солженицыных, Константин и Илья, продолжали крестьянствовать в Сабле до самого прихода разбойников-коллективизаторов. Один, к счастью для него, умер перед самым раскулачиванием, а другого сослали в Сибирь в том потоке.

А тем не менее удар кисти состоялся и какой эффектный: Александр Солженицын просто из рода разбойников! И это составит „ещё один глубокий шрам: Солженицын не может, как другие молодые люди, гордиться своими родными... Страх разрастается до гигантских масштабов”.

Э т о скрывать! Не богатого деда, не отца-офицера — скрывать дядю-бандита! Лепечущий напев для тех, кто не знает, что бандиты были любимыми членами большевистской партии до революции („эксы”) и успешливыми сотрудниками ЧК после неё — сколько же их повалило в ЧК! Бандиты — шаловливые герои советской литературы в эпоху её расцвета. Уголовники всегда были для советской власти „социально-близкими”.

Но чернедь-не чернедь, если она не промазана через отца. Главное — отец. Какую же ложь выдвинуть о нём? Хронология очень бы мешала Суме, а без неё он может сделать лёгкий передёрг: будто отец мой умер не за 6 месяцев до моего рождения, а через 3 месяца после (без даты, конечно), и это „известно достоверно” — и этим сюжетным ходом он вдвигает папину смерть в разгар гражданской войны — на март 1919. Время смерти само подталкивает: должен стать лютым белогвардейцем и быть убит красным мечом. И всё же гебистский коллектив не спроворился бы лучшим образом, если б на помощь не поспешил Кирилл Симонян. Сперва в своей брошюре, затем и в долгих дружеских беседах с Сумой он распахнулся издушевно: „Таисия Захаровна (моя мама — А.С.)

ему одному (Симоняну — А. С.) поведала, что Исай (впрочем, Исаакий — А. С.) Семёнович Солженицын во время гражданской войны был приговорён к смертной казни.”

Вот даже как: не в бою честном убит, но — казнён. И вот как: сыну родному мать не сказала, и никому на земле, но чужому мальчику, чтобы тот донёс до потомства.

... Ах, Кирилл, Кирилл! Как же язык твой извернулся оболгать мою покойную маму, покойного отца — и за что? В одной ли уверенности, что твоя жизнь уже никогда не пересечётся с ними?..

Я с волнением переношусь на 50 лет назад в ту эпоху, конца НЭПа, первой пятилетки — кто не дышал переливами её жестокого воздуха, тот не знает. Вот пишет и ещё чекистский перебежчик: что у мальчика висел над столом портрет отца, царского офицера, и он ему поклонялся. Да виси тогда такой портрет — то лишь до первого захожего — и разгромлена была бы эта квартира и быть может арестована мать. Царский, не царский — слово „офицер” было леденящим сгустком ненависти, его нельзя было вслух произнести среди людей, это была уже — контрреволюция. Незадолго перед тем офицеров уничтожали десятками тысяч подряд, не разбираясь, топили баржами. Фотографии моего отца мама сохраняла только студенческие (и то были допросы: а что это за форма?), а три военных ордена его за германскую войну у нас были закопаны в земле. Ведь Россия была в беспамятстве, да что я! — само слово „Россия” без прилагательных „старая, царская, проклятая” тоже было контрреволюцией, только в 1934 это слово нам вернули.

И я мальчиком — умел хранить тайны. В четыре года я уже видел чекистов, в остроголовых будёновках прошагивающих через богослужение в алтарь. В шесть лет я уже твёрдо знал, что и дедушка и вся семья — преследуется, переезжает с места на место, скрывается, еженощно ждёт обыска и ареста. В девять лет я шагал в школу, уже зная, что там всегда меня могут ждать допросы и притеснения. И в десять лет, при гоготе, пионеры срывали с моей шеи крестик. И в одиннадцать, и в двенадцать меня истязали на собраниях, почему я не поступаю в пионеры. И чекисты на моих глазах вводили дедушку (Щербака) на

смерть из нашей перекошенной щелястой хибарки в 9 квадратных метров. Я — умел хранить тайны! И знал о закопанных папиных орденах. И мама не имела оснований скрыть бы от меня подлинную смерть отца — и даже до моих 23 лет, как уходил на фронт, а открыть — однокласснику.

Но самое характерное во всех этих лжах — не подхватистость Сумы, не бессовестность Симоняна — но безмерное надмение Победителей, Оккупантов, надмение ЧКГБ: что настолько уже огнём и мечом они прошли по России, настолько изничтожили все государственные архивы и все частные, что нигде на русском пространстве не могла уцелеть ни одна нежеланная им бумага. А уж Солженицына трепали, тягали — уж у него-то наверняка ничего нет. А у меня, стараньем родственников-старичков, как раз-то и дохранилось! Хотите, господа чекисты или цекисты — метрика N-ской Духовной консистории (летите, выскребайте запись, рвите лист!) — о рождении отца моего и крестьянском звании Солженицыных, как Семёна Ефимовича, так и Пелагеи Панкратовны? Хотите — обыкновенное гражданское свидетельство, удостоверенное причтом Вознесенского собора города Георгиевска, Владикавказской епархии, Терской области, о смерти отца моего от раны 15 июня 1918 и погребении его 16 июня на городском кладбище? Как понимаете, ваши ревтрибуналы, расстреливая у ям, не посылали за священником, дьяконом и псаломщиком.

После несчастного нелепого своего ранения на охоте папа семь дней умирал в обычной городской больнице Георгиевска, и умер-то по небрежности и неумению врача справиться с медленным заражением крови от вогнанного в грудь кроме дроби ещё и пыжа. И похоронен он был в центре города (ещё и фотография выноса гроба из церкви долго хранилась у нас), и я сам хорошо помню, как посещали мы его могилу до моих 12 лет, и где она находилась относительно церкви, пока не закатали то место тракторы под стадион. А когда после всех лагерей я приехал в Георгиевск в 1956 — сохранившиеся родственники, ближние и дальние, снова рассказывали мне о том несчастном ранении, да вот и свидетельства дали.

Мне самому — нисколько не горда такая история,

скорее смутительна. Когда я взялся описывать отца в те годы — студента, изрядно левых настроений, как все тогда, но на войну пошедшего добровольно, но с георгиевским крестом за растаскивание горящих снарядных ящиков, но потом председателя батарейного солдатского комитета, но досидевшего на фронте до февраля 1918, когда уже Ленин с Троцким предали и тот фронт, и тех последних солдат, и четверть России — как силился я угадать, понять: с каким же настроением возвратился мой отец на Северный Кавказ? В начинавшейся борьбе — где были его симпатии? и поднял ли бы он оружие, и против кого именно? И как бы дальше-дальше-дальше протягивалась бы его судьба? как это мне теперь угадать? Я знаю, как неопытно, как искажённо бывает наше понимание вещей, я и сам потом отдал молодые симпатии чудовищному ленинизму — а по сегодняшнему своему чувству, конечно, горд бы был, если б отец мой воевал против захватчиков — в Белом ли движении или ещё лучше — в крестьянском, которое 4 года трясло их коминтерновскую империю по всем раздолам, никак не давая поджечь мировую революцию через Будапешт, Варшаву и Берлин. И в той борьбе если б и убили его — это был бы подвиг его и зов ко мне. Но нет: он умер от несчастного случая на охоте, ещё прежде, чем определились фронты гражданской войны.

Моей покойной матери бесстыжее перо Сумы коснётся потом ещё раз: „Прибыв на короткий срок из воинской части по вызову умирающей матери, он предпочёл провести ночь у возлюбленной. Мать скончалась, так и не дождавшись сына.”

Но — не было такой поездки, лгун. И — не было такого вызова. (Да „по вызову умирающей матери” и не отпускает советский фронт.) О смерти её, 17 января 1944 в Георгиевске, я даже и не знал, письмо от тётей пришло ко мне с большим опозданием. Тяжко виновен я перед матерью, но не в том, что не приехал, а в том, что свой офицерский аттестат (он мог быть выписан лишь на одно лицо, не на два), я выписал не на мать, а на обожаемую молодую жену Наташу Решетовскую (маме только переводы) — и тем доставил военкоматское покровительство жене в казахстанской эвакуации, а не больной в Георгиев-

ске матери. И потому мама числилась не матерью офицера, а просто гражданской женщиной. И две тётки не имели, на чём отвезти покойницу, и неоплатна была копка могилы в каменноморозной земле, и опустили её в свежую могилу её брата, умершего двумя неделями раньше, да кажется туда ж — и несколько умерших в госпитале красноармейцев.

А поездка моя на „короткий срок” была двумя месяцами позже, в марте 1944, и „ночь провёл” я не у любовницы, но, действительно, в очень странном месте: в высочайшем закрытом правительственном санатории Барвиха. Что за чудо, как? Сейчас, страницами ниже.

Наконец, от родителей повествование переходит ко мне, да к детству, да именно к старому шраму тех лет. Сперва, думаю, мысль о нём профессионально родилась у детективов КГБ при кабинетном рассматривании моих фотографий: заметный, прямо на лбу, ведь какая находка при слежке, при опознавании, а может быть и уголовную историю можно бы пристроить? Да больше того: из этого шрама можно, при умении, сделать открывающий ключ ко всей жизни преступника. Если правильно этот шрам повернуть, его можно назвать даже „духовным рождением”. И вот, единою волей этот шрам занял самое увертюрное место — и книги Решетовской, и брошюры Симоняна, и теперь научно-углублённого труда Сумы — который, впрочем, более чем на половину повторяет версии Решетовской: та очертила некоторые стандартные блоки, на которых затем и будет строиться вся казённая клевета.

Никак не предполагал я отзываться на книгу женщины, перед которою виноват. Но сейчас, когда она органически вплелась в слишком серьёзный ряд, приходится нечто и сказать. Задачи „живого свидетельства” в ней поняты странно: большая доля посвящена событиям, которым Решетовская никогда не была свидетелем. Она берётся описывать лубянскую камеру, быт на шарашке, вообще лагеря, прототип Шухова искать в батарейном поваре (никогда им не был и никогда она его не знала). Описывает мою трёхлетнюю ссылную жизнь, будто была её соучастницей, будто не именно там покинула меня душимого раком и в непрорываемом одиночестве. И даже историю моей болезни берётся излагать, о самом смертном моменте, декабрь 1953: „состояние приличное”. Напротив, шесть последних лет, после 1964, нашей совместной интенсивно-мучительной, раздирающей жизни перед разводом — обойдены вовсе, тут книга обрывается.

Даже трудно поверить, что писал человек, бывший мне близким. Так отдалённо-отстранённо упоминает смерть моей матери, как будто совсем не имела на ту судьбу влияния, не настаивала на офицерском аттестате („если хочешь, чтобы Джеммочка твоя сохранилась”). Никогда не заметила никакой внутренней линии моей жизни, ни любви к России, ни страсти к поиску исторической правды, всё это заменено единственным движущим мотивом — „быть наверху!”. (А легче всего мне было, после хрущёвской ласки, остаться „наверху” и помогать казённым перьям.) Книги мои цитирует недобросовестно, с натяжкой обращая цитаты против меня.

Но обо мне — пусть и всё это, и хуже. Однако, в какой чёрный момент не остановилась она перед нашим братским могильником, откуда уже никто не простонет, — и назвала „Архипелаг” сборищем лагерного фольклора, разукрашенных рассказов неизвестных людей, произвольно нанизанных мною. (Именно в те годы, когда я собирал показания, она отвращена была от моей работы, отталкивалась от неё, не знала тех опрошенных эзков и ни при одном рассказе не присутствовала.)

С тем большей лёгкостью рисует она трогательную заботу КГБ, защищающую честь невинных.

Итак, отчего ж этот шрам? О, это леденящая загадка. Оказывается, Наташа Решетовская, с этим тёмным человеком состоявши в браке, с перерывом на другое замужество, 25 лет, а проживя вместе 15, никогда (по деликатности, по нерешительности) не осмелилась спросить у мужа: отчего он? (Разумеется, узнала в первых же студенческих переболтках. Сама ли пишет, пером ли водят, задумались бы: что пишут? Какое ж это замужество, если у мужа стыдно спросить о шраме на лбу?)

Итак, по сюжету, загадка о шраме продолжала и продолжала мучить Наташу — и вот, рассказывает она, через многие годы, уже после развода, осмелилась спросить о том друга нашей общей юности Кирилла Симоняна. А Кирилл — возьми да и знай. А Кирилл — к тому же и врач, да не просто хирург, но универсальный профессор медицины, который знает всю её и вокруг неё и особенно психологию, патопсихологию, фрейдовский психоанализ и всё, что может пригодиться. И он с лёгкостью даёт объяснение мучительной загадке: Солженицын в детстве был очень впечатлителен, не переносил, когда кто-нибудь получал оценку выше его, становился белым как мел и мог упасть в обморок. Но как-то учитель Бершадский начал читать ему нотацию, и от этого Солженицын упал-таки в обморок и рассек лоб о парту.

Вот и прекрасный старт для безмерного честолюбия насквозь всю жизнь. Вот что может дать один только детский шрам!

Может, но при условии дружной согласованности всех служебных щупальцев КГБ. А это, увы, как раз и не случилось. Через три года появился (может быть, по другому пропагандистскому отделу, может быть, не ЧК, а ЦК) собственный опус доктора Кирилла Симоняна — и о том же самом шраме тот же самый доктор рассказал совсем другую историю: „Поссорившись с Шуркой Каганом, Саня обозвал его „жидом“, тот ответил ударом. Падая, Саня рассек лоб о дверную ручку.” (Внимание! выдвигаем монархо-фашиста.)

Вероятно, сами очнулись. И так как книгу Решетовской коммунистические коммивояжеры уже протолкнули по всему свету, то эссе Симоняна не выпустили дальше глухой Дании. Служебное упущение, кого-нибудь и наказали. Но Кирилла Симоняна, заступимся, нельзя упрекнуть: дело в том, что об этом школьном случае он действительно никогда достоверно не знал: случай произошёл 9 сентября 1930 в классе 5 „а“, в самом начале учебного года, а Кирилл только в этих днях впервые перевёлся из другой школы, да в класс 5 „б“, был ещё робким новичком, он и не видел и слышать толком не мог. Так что для ЧК или ЦК он мог бы дать ещё и третью или четвёртую версию. Но вопрос в том — какая всего полезнее? Полезнее теперь эти две разошедшиеся увязать — и кто же это делает лучше самого Симоняна?

И доктор Симонян, диагност и эрудит, легко даёт теперь Суме профессорское решение: сперва Солженицын побледнел („страшно было смотреть“) от уязвлённого самолюбия, а затем уже проорал антисемитский выкрик. А тогда Каган его толкнул — и так он разбился лбом о парту. (Если толкнул — очевидно спереди? — то можно разбить только затылок?)

Ну, да Сума имеет же возможность ещё поехать в Ростов-на-Дону и разыскать действительного второго участника того случая — Шурика Кагана. Что ему на самом деле теперь сказал Каган, поддакивал или мялся — этого из книги ясно не прочтёшь. Но Сума решительно выводит: всё подтвердилось! И даже выносит из этого интервью но-

вые украшения: за несколько дней до события четыре верных друга — Каган, Солженицын, Симонян и Виткевич, надрезают свои пальцы старым скальпелем, смешивают кровь и клянутся в братстве. И вот теперь тот же Бершадский из-за антисемита Солженицына навсегда исключает Кагана из школы „имени Малевича”. (Никогда такой не было. Сума полагает, наверно, что это — художник, а то был уже уволенный за неблагонадёжность директор школы, а была школа — имени пса Зиновьева, но тоже разжалована.)

Иван Иваныч фан-дер-Флит
Женат на тётке Воронцова,
Из них который-то убит
В отряде славного Слепцова.

Однако, клятвы тех четырёх мальчиков не то что в те дни, но ни в том году, ни в следующем быть не могло по той нескладнице, что Виткевич эти годы учился в Дагестане, а Симонян сроду в мальчишечьи игры не играл.

Но был действительно отряд,
Да только вовсе не Слепцова:

со многими мальчишками, вооружённые деревянными мечами, мы захватывающе играли в разбойников по заброшенным подземным складским помещениям, каких немало в ростовских дворах, и среди тех мальчишек действительно был Шурка Каган. И он предлагал: украсть на Дону лодку и бежать в Америку.

А 9 сентября он принёс в школу финский нож без футляра (вот откуда у Сумы и выплыл „старый скальпель”) — и мы с ним, именно мы вдвоём, стали с этой финкой неосторожно играть, отнимая друг у друга, — и при этом он, не нарочно, уколол меня её остриём в основание пальца (так понимаю, что попал в нерв). Я испытал сильнейшую боль, совсем не известную мне по характеру: вдруг стало звенеть в голове и темнеть в глазах, и мир куда-то отливает (та самая „страшная бледность”, в которой меня уличили). Потом я узнал: надо было лечь, голову вниз, но тогда — я побрёл, чтоб умыть лицо холодной водой — и очнулся, уже лёжа лицом в большой луже крови, не понимая, где я, что случилось. А случилось то, что я как палка рухнул — и с размаху попал лбом об острое

ребро каменного дверного уступа. Разве о парту так расшибёшься? — не только кровь лила, но, оказалась вмята навсегда лобная кость. Перепуганный тот же Каган и другие, не сказавшись учителям, повели меня под руки под кран, обмывать рану сырой водой, потом — за квартал в амбулаторию, и там наложили мне без дезинфекции грубые швы (советская бесплатная медицинская помощь) — а через день под швами началось нагноение, температура выше сорока и проболел я 40 дней.

А как же — антисемитский выкрик и увещания Бершадского (у Сумы сцена написана так, будто допрос происходил ещё при льющей со лба крови)? А это было — полугодом позже, и выкрикнул совсем другой мальчик — Валька Никольский, и совсем третьему, Митьке Штительману, они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о „кацапской харе“, а я сидел поодаль, но не выказал осуждения, мол „говорить каждый имеет право“ — и вот это было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той истории был совсем ни при чём. И Александр Соломонович Бершадский действительно со мной беседовал и своею властью (завуча, а не классного руководителя, как плетёт Сума) и своим пониманием пригасил дело, сколько мог.

А как же — исключение Кагана из школы за толчок меня к парте? Кажется, ещё кровь со лба лилась, а уже он „вещички собирал“? А это было *через два года*, в сентябре 1932, и исключали из школы (тот же Бершадский) нас троих — именно: меня, Кагана и ещё Мотьку Гена, а исключали нас за систематический срыв сдвоенных уроков математики, с которых мы убегали играть в футбол. Я же — ещё и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз, и закинул за старый шкаф. (Неукоснительно отказывая мне в чём-либо человеческом, а только змеиное оставляя, — даже и тут излыгает Сума, что я на футбол не бежал, а оставался на уроках. А вспомнить этот наш футбол! — ведь в ограде закрытой недоразрушенной тогда церкви Казанской Божьей Матери, на площадке у бокового придела, ударяя мячом то в решётчатое оконце, то в над-

гробные камни. И это — я, ещё два года перед тем ходивший с мамою в последний незакрытый собор, и всё это — соединяется в легконосимой мальчишеской груди — аут! корнер! пенальди! — свищет над Русью ветер запустения, из-под которого, кажется, она никогда не встанет.) Грозно объявил Александр Соломонович наше исключение (как раз в те дни только и появился первый указ о праве исключать, в предыдущие годы и исключать не имели права, Сума опять не сверился со святцами) — и мы с Каганом и Геном, убитые, ничего не говоря дома, дня три приходили под школу сидеть на камешках, пока девчёнчья „общественность” не составила петицию, что класс „берёт нас на поруки” — и Бершадский дал себя уговорить.

Расспросами, в конце концов,
Одна лишь истина добыта:
Иван Иваныч Воронцов
Женат на тётке фан-дер-Флита.

И за всё это, пишет Сума, я „отомстил” Кагану через 30 лет: такую фамилию (редкую как Иванов) употребил в „Круге первом”.

Но чем ближе к литературным занятиям этого треклятого Солженицына, тем неизбежнее должен открыть нам Сума и движущие его мотивы, источники фальшивого вдохновения (сжигающее честолюбие) и принцип выбора тем („что-нибудь, что наиболее модно в данной ситуации”), да и — наставников его первых шагов. А наставники, оказывается: прежде всего Кирилл Симонян, потом Кока Виткевич и Шурик Каган, хоть он уже в другой школе, потом и мы по разным институтам (неважно, это нужно для вампукского прохода воинов). И долгие годы они собираются исключительно всегда на неметенных ступеньках проходной железной лестницы в многолюдном дворе Симоняна — и именно только им и только туда приносит Солженицын на суд свои творения и именно здесь он всегда получает достойный суровый приговор, который ещё мог бы его спасти от губительных литературных увлечений. И именно здесь, над первыми главами самсоновской катастрофы (значит, уже им по 19-20 лет, студенты, но всё на той же лестнице) „они совершенно независимо один от другого откровенно и прямо сказали Солженицыну:

„Слушай, Саня, брось! Пустая трата времени. Сумбурно как-то. Не хватает у тебя таланта.”

И вот это — и был момент рождения писателя-предателя (сперва — друзей, потом — родины, потом всего человечества)! „Это смертельно ранит Солженицына. Он вознамерится отомстить друзьям”, что и станет ведущим импульсом всю его остальную жизнь. „С того момента, как Кирилл произнёс свой окончательный приговор литературным способностям Солженицына, Александр питал к нему бессильную злобу и почти животный страх. Страх! Он по-настоящему стал бояться открытого и пронизательного взгляда Кирилла Симоняна... Как ему спрятаться от мудрого взгляда по-южному тёмных и горящих глаз Кирилла Семёновича Симоняна? Они всегда будут напоминать ему о его собственном ничтожестве” (стр. 41). „Солженицын испытывал непреодолимый страх перед силой иронии и ума этого известного хирурга и высокоинтеллигентного человека.” „Вероятно, он и поныне готов пожертвовать половиной Нобелевской премии, чтоб услышать положительный отзыв понимающего толк в литературе Кирилла Семёновича. Однако, профессор Симонян и в зрелые годы не изменил своего мнения: Солженицын — не художник и никогда им не будет.” „Как художнику — ему нечего сказать”, поэтому он и бросился на „ту вонючую кучу, каковой является „Архипелаг ГУЛАГ””.

Да Сума всё более склонен передать все объяснения профессору Симоняну, которого и представляет читателю щедро: „Мечтательная глубина его тёмных глаз с годами обретает жизненную мудрость. Он армянин, но вопреки всем анекдотам об армянской изворотливости — он бесхитростен, ничего не утаивает и добивается победы. Для него ставка в игре — не только его научная карьера, но прежде всего он сам. В отличие от Солженицына он — личность.”

И вот постепенно, в ряде дружеских встреч, начиная с осени 1975 (как задали эту книжку), профессор Симонян растолковывает схватчивому Суме все главные события жизни Солженицына и вообще — что такое он есть. „По авторитетному мнению профессора Симоняна бледность и обморок — это приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий... Я смот-

рю на Солженицына глазами врача. Его судьбу predetermined его генетический код. Солженицын наделён комплексом неполноценности, который выливается в агрессивность, а та в свою очередь порождает манию величия и честолюбие.” (Не попеняем на неполную оригинальность этой фрейдистской азбуки. Но заключение о моей душевной болезни — выше, пункт 20-й, — тоже Симоняна, хорошо, что он — не в институте Сербского.)

Подходит время узнать, как я вёл себя на войне? Так опять же это лучше всего объяснит нам профессор Симонян, потому что: „Симоняна профессия хирурга естественно привела в медсанбат. Особенно в первый период войны это была жизнь далеко не безопасная. Кириллу Семёновичу иногда приходилось откладывать скальпель и брать в руки автомат, чтобы разить врага вместо того, чтоб оказывать медицинскую помощь раненым.”

Что ж, картина для 41-го года верная. Но, увы, маленькая поправка: первый период войны, как впрочем и второй и третий, Кирилл на фронте не был. Весь 1941 он ещё учился в Ростовском медицинском институте. По его окончании с каким-то медицинским полномочиём отправился в Среднюю Азию, прожил там 1942 и часть 1943. Лишь в 1943 попал в некий госпиталь, о котором рассказывает Сума, что там они вместе с Лидией Ежерец получали мои безрассудно-неосторожные письма. Да что ж это за госпиталь такой фронтовой, где постоянно находилась и гражданская Лида, литературная аспирантка? А... гм... вот это и был правительственный санаторий Барвиха. Отец Лиды, доктор Ежерец, в то время был его главным врачом. И взял к себе из среднеазиатской эвакуации своего предполагаемого будущего зятя Кирилла. Тут Кирилл и прослужил до осени 1944 года, когда и на самом деле отправился на фронт. Таким образом, стаж для военных суждений у Симоняна получается несколько коротковат.

Ну что ж, тогда Сума возьмёт их на себя. Кто-то ему рассказал из уставов, и он трактует мою службу так: „Артиллерийский разведывательный дивизион находился в резерве Верховного командования. Это означало: только Генеральный штаб и Верховный главнокомандующий (как близок в это время по службе Солженицын к Сталину!) были правомочны принимать решение о месте и времени

его использования. Он был строго засекречен. Узнай о нём враг... (далее — перечень ужасов)... Командир батареи звуковой разведки *обязан* отступать при малейшем колебании переднего края: нельзя рисковать чрезвычайно дорогой техникой.”

Не знаю по-чешски, а по-русски: читает как сом по Библии. „Резерв главного командования” — это общее название всей артиллерии, старше чем дивизионная. Во множестве распределена она по всем фронтам, практически распоряжаются ею армии и корпуса. Так и нашим разведдивизионом; звукобатарею оперативно подчиняют тяжёлому артиллерийскому полку, и она делит с ним удачи и невзгоды, обстрелы, бомбёжки, движение через минные поля, переправы, а на плацдармы, по своей лёгкости, высывается без пушек, вперёд. Конечно, при всех случаях это не пехота. Но и распоряжения такого идиотского — отступать при малейшем колебании переднего края, никогда не бывало, а очень даже сидели на месте и только раненых отвозили. Наша техника СЧЗМ-36, станция 1936 года, отлично была немцу известна, он в 1941 её штабелями набрал, но не нуждался он её ни копировать, ни использовать, потому что и у самого равноценные были. И таких звукобатарей не одна была, и не под самой дланью Сталина, а более 150, так что на каждые 10 километров фронта была своя звукобатарея, и её захват ничего бы решительно не объяснил немцам из нашей стратегии.

Вот с таким знанием предмета и на таком уровне понимания и составлена вся эта гебистская книжка.

Однако, пылкий Сума уже имеет все материалы для суждения: в конце 1942 Солженицын становится командиром батареи звуковой разведки (61), в 1943 Солженицын „ещё чувствовал себя в привычной роли курсанта” (?), 62, очевидно, сказывается коллективное сочинительство), „в 1943 для Солженицына выгоднее быть исполнителем и верным офицером Красной Армии. Никогда его жизнь не находилась под непосредственной угрозой.” „В 1943-44 Солженицыну в армии нравится” (65). „Вдалеке от непосредственной опасности, окружённый четырьмя (!) услужливыми адъютантами (это при 60 человеках всего в батарее), Солженицын живёт как истинный внук богатого землевладельца.” Даже: „ни разу не участвовал в бо-

ях” (72). (Ну, там ещё, может, какие ордена, но это — не те клетки.)

Боже, как скучно. Боже, как память у них скудна. До чего ж непробиваемы и неусвояемы их бараньи лбы! Когда пустили первую сплетню о моём плену и гестапо, то в комитете по ленинским премиям кто-то из знатоков литературы, кажется генеральный секретарь комсомола, высунулся с этой фигой — и поднялся Твардовский в свой внушительный рост и в полный свой голос прочёл из моего реабилитационного свидетельства (Верховный суд СССР, определение № 4н — 083/57 от 6 февраля 1957):

„Из боевой характеристики видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, то есть до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям.”

Слышали — и всё забыли! И — опять сначала, с другого конца. (Есть, конечно, и такой выход: разогнать свой Верховный суд.)

Да и Сума: не слишком ли много дал хронологии? куда она заведёт? Итак, в 1944 Солженицыну в армии нравится, полная безопасность, даже ни одного боя. А дальше — наступление на Восточную Пруссию, и „во время одной из контратак его батарея попадает в окружение.”

— Интересно бы: когда именно?

— Ну, какое это имеет значение?

Я всё же помогу: в ночь с 26 на 27 января 1945 между деревнями Адлиг-Швенкиттен и Дитрихсдорф.

Но откуда же этот пройдоха знает об эпизоде и даже название Адлиг-Швенкиттен? А — из „Архипелага” (том первый, стр. 32 и 265), я ж это всё и описал. (Только Дитрихсдорфа не назвал — вот и у Сумы нет.)

И вот: „Капитан Солженицын бросает людей, дорогостоящую технику и спасается бегством. Им овладевают чувства паники и животного страха. Он не должен погибнуть! Он — нет... Солженицын бежит в безопасное место. Это — риск быть расстрелянным. Но ему везёт. Есть верный сержант Илья Соломин. Он выведет из окружения технику и людей, и Солженицыну всё сойдёт с рук.”

Те-те-те... так тут групповым расстрелом пахнет? Если командир батареи бежал — то ведь ещё остаются два боевых офицера (иногда и третий — звукотехник), ещё старшина — и где ж они все, тоже сбежали? — если всю

батарею выводит помкомвзвод Соломин?

И — откуда же Сума мог это всё взять? Чтоб рассказал Соломин — никак не видно из книги, даже видать и не разговаривал (нет ему благодарности от Сумы). Ни вообще единый человек из батареи или дивизиона, ни из офицеров, ни солдат. (Большинства он не нашёл, а к кому, может, приставал — те побрезговали грязной Сумой.)

И остаётся допустить в ту ночь чистое видение, духовное прозрение десятилетнего пражского мальчика. Интересно, как объяснили бы это Фрейд и доктор Симонян?

А ночь была — незабываемая, она и сейчас стоит как живая. И сколько раз я порывался её описать: сперва, ещё в лагере, в стихах, четырёхстопным хореем, продолжением „Прусских ночей”, и уже написал кое-что, но затем потерял, и из памяти стёрлось. И потом — в ссылке начал, в прозе, но другие сюжеты выдвигались важнее, так никогда и не собрался. А всё особое чувство, какое к Восточной Пруссии возникло, — улилось в „Август”. И осталась та ночь только в прорезанной памяти. Тёплый пасмурный вечер, в который мы передвигались к боевому порядку, растянулся в ярко-лунную ночь. Совершенно пустой от жителей — да и от наших солдат — Дитрихсдорф, и в нём — помещичий дом как дворец, за весь прусский ход мы такого не видели, а теперь зимняя луна заливала его колонны и широкую лестницу, и внутри освещала залы, пока не зажгли мы свечи и аккумуляторные лампочки. Конечно, тут мы и развернули центральную станцию, и с изумлением бродили по этим залам. За две недели движения братва уже насытилась прусским изобилием, никто особенно не трофейничал, да не до этого и было, тревожно. Такой порывистый наш мах к Балтийскому морю, край отрезанных немцев загнулся, исчез, и наступила пустотная тишина. Нашей пехоты нигде не оказалось, передний край противника был неизвестен никому и ни светом, ни звуком себя нигде не выдавал. Но приказано было мне именно на этом рубеже, к одиннадцати часам вечера, развернуть звукопосты — за всю войну впервые лицом на восток! а то всегда бывало на запад. И звукопосты потянули кабель в свой обычный веер — но куда же Предупредитель (пере-

довой наблюдательный)? Прямо на восток от нас простиралось большое заснеженное озеро. Лейтенант Овсянников, командир линейного взвода, взял автоматчика и пошёл посмотреть, что делается на том берегу в отдельном домике. Хотя луна продолжала светить, иногда застилаясь проходящими облаками (как это пересвечивало по колоннам!), но вдаль не хватало света, и ушедшие постепенно растворились там. Всё не шли. Потом показались — точкою, затем удлинённою странной формой, и уже близко подошли — этой группы нельзя было понять. А — это были четверо военнопленных, вот только что освобождённых Овсянниковым, французы, даже при луне отличался синеватый цвет их формы. А медленно и плотно шли они так — потому что несли на плечах убитого нашего Шмакова — старательного солдата, контуженного под Орлом, с тех пор ни разу не раненного — чтобы смерть найти вот теперь, у одинокого прусского домика. Там были немцы, отстреливались, убежали — но, говорили французы, они повсюду тут, и сами французы ещё не верили, что освободились. И с этой их похоронной группы на лунно-ледяном озере начались все события ночи: беззвучное нападение большой массы на наш левый звукопост — Ермолаеву, Янченко усекли черепа лопатами. Попытался Овсянников выручить этот пост — и уже не мог продвинуться, обнаружил там целую колонну. Пятна малых беззвучных пожаров, то слева, то справа. Из тыла на коне примчался старшина Корнев: по дороге в лесу его молча старались перехватить — он прорвался. Пока была связь, притянутая огневицами из Адлига-Швенкиттен, километра два позади, где плотно стали двенадцать тяжёлых пушек, наугад, мало рассчитывая, что тут придётся задержаться, — я по телефону докладывал обо всём, но в штабе дивизиона и бригады не придали значения: без стрельбы, без рёва техники — так не наступают, мерещится. Но именно так в ту ночь и пытались окружённые найти выход в Германию через наш узкий клин: без стрельбы, без автомашин (и бензина у них не было) большими пехотными массами. Скоро связь моя с огневицами прервалась, а звукопосты видели ещё новые массы и слышали у наступающих — русскую речь! Стало ясно: никакой звуковой разведки вести тут не предстояло, и я, уже без связи, взял отступление на себя.

А от нас до Адлига-Швенкиттен было две дороги, разделённые километром: севернее и южнее, обе через лес. Пока так выходило, что северная опасней, там и старшину задержали — и я послал на больших санях, запряжённых немецкими битюгами, станцию, звукоприёмники и самое ценное — южной дорогой, с другим лейтенантом (вот там и Соломин был). Доберясь до Адлига, они должны были прислать связного, что всё спасено. А мы тем временем сворачивали все развёрнутые линии, снова грузились на две машины — да и ужинали же: неисчислимы (на советский взгляд) запасы продуктов нашлись в погребах, более всего домашние консервы всех видов; разогрев банку, оттянув резиновую прокладку, можно было вывалить на тарелку почти шипящие, будто только что сжаренные котлеты. Грели, открывали, бродили лунатиками по необычным залам, за инкрустированными столиками серые шинели поглощали заморскую снедь — что там будет через полчаса? (Эти впечатления влились в „Пир победителей“, хотя там — другая ночь, в штабе дивизиона, где, действительно, ужинали на зеркале.) И тут же были необычайные наши французы в синем, у всех нас — первые в жизни, один — с каким-то аристократическим закидом головы и манерою говорить. А для них — какова эта ночь? Призрачно-лунное освобождение из плена, если тотчас и не подстрелят. А наш мёртвый уже лежал в кузове ЗИСа. А луна и облачные тени всё проходили по колоннам, пока опять затянуло сплошь (к счастью). Клещи с двух сторон от нас промечались пожарными пятнами, а тишина — всё та же редкостная повсюду, и в Дитрихсдорф никто не шёл. Долго не было известий от наших саней, наконец прибежали северной дорогой: доехали до Адлига, хотя по пути сани разваливались в лесу, и просто плотничали, сколачивали. На пушках спокойно — и отхода нашего не понимают. Тем не менее вот мы уже стянулись — и тронулись, с передним, задним и боковыми походными охранениями — северной же дорогой, лесной, не такой заснеженной, а машины буксуют всё равно, и ребята выталкивают их гурьбою, как мы привыкли, привыкли ещё с болот Северо-Западного. От этого — остановки получались. Овсянников вёл колонну с машинами, а я с двумя солдатами замыкал, шагов на триста позади — и идти нам

приходилось так медленно, останавливаясь, как будто мы приятно гуляли ласковой ночью в светло-белесой пелене неба и поля, — а во всякую минуту выскочить могли с любой стороны и изрешетить. И вот это и было, навсегда запомнилось, — главное ощущение этой ночи: своего пребывания на земле, а совсем не привязанности к ней, лёгкое тело, одолженное нам лишь временно, и осветлённая прогулка по призрачным местам, куда нас заносит случай, а всякую минуту вот мы готовы и отлететь.

Но беззадержно прошли мы до Адлига, только уже на последней поляне перед ним завязла в сугробе полуторка с кухней, никак не вытолкнуть. Бросили её, пошли до Адлига. Теперь я говорил со своим штабом по телефону — но и по-прежнему не разрешали мне уходить из Дитрихсдорфа. Но уж и не в Адлиге теперь оставаться в обозном состоянии: отправил я ещё на полтора километра назад, за реку Пассарге, к штабу дивизиона, всю звукотехнику, ЗИС и почти всех людей, а сам с тремя остался выручать полуторку. Просил у огневииков трактор — нельзя: боевая готовность требует, чтобы трактора были при пушках. Тут позвонил им со своего наблюдательного их лихой командир дивизиона майор Боев: „Меня окружают!” — и связь прервалась, как наш звукопост. (Убит там.) Тем более — трактора не дают. Но за это время пришёл со мной разбираться комиссар нашего дивизиона Пашкин: почему я отступаю? Сразу всё понял, под свою ответственность взял трактор — и попёрли мы за этой проклятой полуторкой, метров 400 вперёд, на виду пушек. Едва доехали до неё, тракторист развернулся цеплять — из белой мглы, не видно откуда, — по обшивке трактора затрещали пули. Тракторист — сразу полный ход, один, как был — и к пушкам. Но не успели мы сообразить, что дальше, и куда ж он — слева от нас, с той южной дороги, где они, значит, и копилась, на поляне раздалось громкое русское „ура!” — и десятки поднялись в маскхалатах со снегу, а на пушки уже летели и огненно взрывались гранаты, так и не дав им стрелять. (Погибли одиннадцать пушек, и только двенадцатую угнал наш трактор, единственный на ходу.) А нам уже не было пути в Адлиг, и кучка наша побежала снежною целиною под крутой укат, через какие-то ямы, загородки, где почти скатываясь кувырком — а

стреляли нам вослед сверху почему-то только трассирующими пулями, ассортимента у них не было, — и то, что мы видели огненно красные чёточки ещё от вылета — нам облегчило. (Майор был в полушубке, мешает, скинул — его ординарец Салиев подхватил полушубок и тащил всю дорогу.) Так, по целине, крюком километра два, мы проваливались (у меня на боку в полевой сумке — „Резолюция № 1”) — но опять было то же ощущение: одолженного, временного, не обязательного тела и острота чувств, которая не страх, но та нерядовая острота, когда глотаешь опасность — а в мыслях проносятся, проносятся разные картины прожитой жизни. Через мостик на Пассарге перед нами та пушка проехала, и уже заминировали его — едва мы успели руками промахать, перебежать — и взорвали мостик. Штаб дивизиона и штаб бригады по ту сторону речки были уже на колёсах — откатывать дальше.

Однако, вернёмся же к детективному замыслу. Итак, в 1944 году Солженицын был вполне доволен своим пребыванием в армии и абсолютной безопасностью в ней. Теперь, 27 января 1945, „история с окружением преподнесла Солженицыну урок. Солженицын обнаружил потрясающую для себя вещь: ведь он может погибнуть... Его могут убить.” Такая потрясающая мысль до сих пор никак не могла взбрести в голову человеку на войне. „Солженицын не может этого допустить. Ни в коем случае! Особенно теперь, когда до конца войны, это видит каждый, остаются может быть недели. В такое время умирать не хочется... Но Солженицын — виртуозный интриган. Поэтому в его голове рождается вероятно самый совершенный и самый подлый план, который когда-либо был выдуман, план спасения собственной жизни.”

И какой же? *Самоарестоваться!* — объясняет Суме Симонян: „Это было для Солженицына лучшим выходом из положения”. Чем рисковать собою эти последние ужасные недели войны — избрать такой путь спасения: положить свою голову в чекистскую пасть. И когда ж этот сатанинский план изобретен? Очевидно, в тот же день 27-го января, ну может быть не позже 29-го, потому что 30 января он уже приведен в исполнение: в далёкой Москве за-

меститель генерального прокурора РСФСР генерал-майор Вавилов послушно ставит санкцию на арест Солженицына.

И ведь сколько же их сидит в этом гебистском отделе, и сколько наблюдающих, проверяющих просматривало эту книжёнку перед выходом — и одни настолько ленивы, а другие настолько потеряли голову от ненависти, что не заметили этой хронологической ловушки: всё задумано и оформлено — за 3 дня!

Но — как же всё-таки Солженицыну удался этот фокус, каким способом? А: он стал писать письма, в которых *открыто* выражал свою ненависть к Сталину и к советскому государственному строю, чтобы цензура прочла и выхватила его. „Правда, он знал, что за подобную антисоветскую пропаганду любого ждёт трибунал и расстрел” (стр. 81). Но и расстрел — это спасение от фронтальной смерти!

И — как же вся эта операция удалась за 3 дня? Не эффективнее ли было бы просто пойти в ближайший СМЕРШ и объявиться врагом? Может быть — это ему не пришло в голову. Да-а-а... Может быть... пожалуй... Да по другим страницам Сумы (однако тогда уже не согласованным с окружением под Адлигом) получается, что эти самоубийственные письма Солженицын стал писать гораздо раньше — может быть в 1944, может быть в 1943. То есть именно в те годы, когда он „был доволен своим пребыванием в армии, абсолютной безопасностью” и ему не приходила в голову мысль о возможности смерти, — именно тогда-то советский гражданин придумывает такой безопаснейший выход из без того безопасного положения: *открыто объявить себя личным врагом Сталина и врагом советской государственной системы!*

Вот до какого бреда договорились, дописались лучшие чекистские головы 1977 года. Да не в последнем ли они уже маразме?

Но ведь если просто объявить себя врагом Сталина и государства — то пожалуй ещё и не арестуют, поскольку ты всего лишь одиночка? Поэтому „Солженицын намерен вовлечь в свои интриги как можно больше людей, чтобы создать впечатление некоего заговора” — уж тогда ГБ не пренебрежёт.

Именно так подсказывает Суме доктор Симонян. Он

прочёл „Архипелаг” (том первый, стр. 143) — и стало ему окончательно понятно, что вело этого безумца, предателя, патологического труса, племянника бесстрашного бандита: завидный пример группы Александра Ульянова, когда через неосторожное письмо им удалось быть повешенными.

Кирилл!..

Кирочка!.. Что ты наделал?! Как ты оказался с ними? Чем понуждаемый — ты всё это диктовал и диктовал подхватчивому чекисту? Шурка Каган тут не пример — он был посторонний мальчик, да после 7-го класса я его и не видел. Что он там сказал — неизвестно, но даже по Суме он сотой доли того не вымалвливает, что ты. И под чекистский допрос подогнал его — ты, его б и не знали.

Ведь мы были — друзьями, Кирочка! В то враждебное время я жил в Ростове-на-Дону как на чужбине. И как же дорого было найти мягкую, нежную, отзывчивую твою душу. И моя мама так любила тебя, а твоя — любила меня, насколько я понимал. На моей памяти она всегда лежала в постели, в ужасных отёках. Вы жили со страшной тайной: твой отец, богатый купец, спасаясь от ГПУ, вынужден был бросить вас, пешком перейти персидскую границу. Это сейчас поносная Сума может лгать, что то ничем не грозило, не мешало тебе — но ты-то знаешь (и каждый, кто знает советскую жизнь), что, стиснув зубы, ты это скрывал 40 лет. (И когда на Лубянке меня о тебе допрашивали — то уж эту твою тайну я спрятал глубже всего.)

Действительно, двор ваш на Дмитриевской улице был ужасен, нищенский, с этими навесными железными галереями этажей и железной лестницей — только откуда эта фантазия, что мы там на ступеньках читали друг другу наши романы и стихи? Да ни разу. Мы читали — в чудесном городском саду, а ещё чаще — в благоустроенной квартире Лидочки Ежерец, то было единственное место нашего комфорта, да именно с ней все трое мы горели одною литературой, ничем другим, а твоя мечта о писательстве была и жарче нашей и уверенней. А чем особенным запечатлелась комната твоя (квартиры-то не было, все трое вы

с мамой и сестрой в одной комнате) — это спиритически-ми сеансами, которым ты нас с Кокой и научил и устроил всё. В те два-три вечера почему-то не было твоей мамы, а сестрёнку ты выставлял, объяснял нам, что надо непременно открыть форточку, сидеть молча и сильно верить, а электрический свет не мешает, иначе как бы мы читали показания буквенного круга? Положили лёгкие пальцы на опрокинутое блюдце, Кока был поначалу наиболее недоверчив, чтобы другие не двинули — но поведение блюдца превзошло фантазию любого из нас: некоторые вызванные иностранцы не могли справиться с русской азбукой (нам в голову не пришло заготовить и латинскую), иные русские выбирали буквы неграмотно (и потом мы догадывались, что они были в жизни неграмотны), Суворов гонял блюдечко с кавалерийской быстротой, Зиновьев — жалко ползал и оправдывался „мы были с Лениным друзья”, а кто-то, на вопрос, будет ли война, уверенно ответил нам „1940”, а „кто победит?” — и стрелка блюдца три раза подряд уверенно разогналась на „С”, а один раз на „Р”: СССР!

Но и не удайся эти сеансы, именно с тобою мы никогда не смеялись над мистикой и именно мне ты поведывал свои жуткие сны, систематический какой-то сон: некто странный и властный раз от разу снился тебе в одинаковой позе: сидя в кресле против тебя (и руки старческие жёлтые всякий раз на одних и тех же — в каждом сне — кресельных ручках, а лицо его было всегда затемнено, ты не видел), он посвящал тебя в поэзию, он говорил тебе всегда о твоём блистательном поэтическом будущем и иногда достаивал открыть строчки из твоих будущих произведений — и ты во сне дрожал от счастья и восторга от их красоты, а когда просыпался — не мог вспомнить, или удерживал, записывал, как это бывает в насмешливых сказках, какой-то огрызок:

Любовь сильнее яда,
Ведь в ней все муки ада.

С тобою и с Ёськой Резниковым (как ещё на него ты не напустил Суму?) мы издавали в школе литературный журнал. С тобою и с Лидкой мы катали „роман трёх сумасшедших”: писали по очереди по главе, и не было никакого уговора о судьбе героев, а следующий пусть выпуты-

вается, как хочет. К юности уже много было написано у каждого из нас, тетрадки, тетрадки — и наконец, мы стали посылать свои произведения светилам — а светила чаще не отвечали, а когда Леонид Тимофеев прислал разгром и моих стихов, и твоих — для нас это был мрачный удар, ты помнишь? Но тем не менее мы ещё ходили робко к областному поэту Кацу, не напечатает ли он, а из „Молота” Левин поощрял нас очень. А ещё ты завлёк меня в литературный кружок при доме медработника, какой-то грубый партиец из „Молота” формовал там наши вкусы — и всё равно нам, кружковцам, казалось, что музы порхают в той крохотной синей комнатке. И та же страсть в конце концов увлекла нас ездить в Москву на заочный курс литературного факультета ИФЛИ. Да там-то, в общежитии, на партах, мы втроём, с Кокой, и праздновали мою сталинскую стипендию.

Но раньше, раньше! Какая школьная пьеса (Чехов, Ростан, Лавренёв) обошлась без нашего с тобой участия? И ещё даже в дальние драмкружки мы записывались, куда-нибудь в читальню Карла Маркса, ставить „Квадратуру круга”. И на уроках литературы — какое чтение пьесы обходилось без наших ролей? И в областной драмтеатр и даже во ВСАСОТР — когда мы пропускали пойти, если были билеты со скидкой? Но ты ещё кроме того — играл на рояле, и много, так и вижу тебя с трубкою нот у Музыкальной библиотеки на Николаевском (у тебя были отчасти девичьи ужимки, постоянный носовой платок в одной руке, мы звали тебя „Кирилл”, но не в насмешку, а нежно, мы берегли тебя). В мир музыки ввёл меня только ты, и я благодарен тебе навек. Оперы в Ростове бывали редко и дороги, но — бесплатные симфонические концерты каждый летний вечер в городском саду — это ты приохотил меня, и объяснял мне, и сколько же мы там слушали! А в предвечернем ожидании концертов, пока ещё светло, мы с книжками сидели где-нибудь на скамейке, иногда это оказывалось близ тамошнего ресторана — и тогда доносилась ещё музыка дешёвенькая, но почему-то обидно растрavляющая, а главное — запахи недоступной еды, а мы всегда были голодны, и отвлекались нашим чтением, если это не был „Голод” Гамсуна. Да вместе же, с Кокой, мы простояли в очереди ночь и купили велосипе-

ды, это диво тогда! Учились кататься вместе, только в походы ты с нами не ходил. А помнишь, как ты купил „Органику“ Чичибабина — и по каждому пункту „затыкал“ учительницу? Ну, а уж математику и физику списывал у меня. Да наконец, на курсы переводчиков с английского языка — кто ж меня увлёт, если опять не ты? А как, уже из разных институтов, мы сходились на латинский кружок Ивана Васильевича Котлярова? — нельзя же нам было и латынь пропустить? Когда, на экзамене в театральное училище, Завадский заподозрил, что о голосом у меня неладно, он задал мне: „Вон, далеко-далеко идёт ваш друг. А ну-ка, позовите его изо всей силы.“ И я не задумываясь, не выбирая, крикнул: „Кири-илл!!!“ (И сорвался.)

А когда умерла твоя мама, то после похорон её на другой день, в твой страшный день, чтоб не быть тебе дома, не быть одному (сестра у кого-то) — мы пошли с тобой с утра и до заката в степь, за Темерник. Был чудесный день южного апреля — солнце, но ещё не жаркое, таких дней в весне три-четыре, а потом зной. Трава ещё больше прошлогодняя, бьёт по ногам, но и первая зелёная пробилась, а небо голубое — и жаворонки. И так мы бродили, бродили без дорог весь полный день, говорили обо всём, вполне слитые душами, и чувствовали усопшую — и право же, ты к вечеру намного поживел, вернулся на землю.

Да ты и в политике был умнее, чем я или Кока, ты не захвачен был этой заразой мировой революции, и марксизм если и прилип к тебе — то не крепкою чешуёй и не надолго. О 37-м годе и пытках его — ты один из нас чётко знал, и мне втолковывал, а я плохо воспринимал. Началась война — я зашёл к тебе прощаться на медпункт почтамта, где ты работал. Я горел: как могу не успеть защитить ленинизм, и он рухнет, — а ты говорил мне, молодец: народное недовольство — как туча, а горцы Северного Кавказа рвутся в восстание, — и ведь верно!

И с тем расстались мы на два с половиной года — а в марте 1944 я пришёл пешком из Одинцова к недоступному замку Барвихи — и вахта приняла меня, а там выбежали вы с Лидкой и повели зачуханного старшего лейтенанта ни много ни мало в тот трёхкомнатный номер, который передо мною занимал мой командующий фронтом маршал Рокоссовский. За обедом, с непривычки, я

еле сдерживался, чтобы каждое второе слово не вставлять матерное, как мы привыкли на фронте. А потом с тобой — 24 часа непрерывных разговоров, и взаимного согласия во всём. И уже тупой Усач давно-давно ни для кого из нас не был лицом уважаемым. И кипение общих послевоенных литературных планов. Это тоже был день — из вершин нашей дружбы.

А уж потом мы расстались, потом... Я всё это смею сейчас вспоминать, потому что... ты уже больше — не подними. И на Земле — нам уже больше не повидаться.

Вот эти последние страницы я ведь не сейчас написал, не сейчас, когда дошла до меня мерзкая книжка чекистов, — я написал их пять месяцев назад, в апреле, близ твоего 60-летия. Как раз в те дни я вспоминал о тебе — и как раз в те дни мне принесли письмо, как гром поразившее: ты — у м е р, Кирочка. Не в переносном смысле, ты умер этой зимой, не дожив до своих 60 (и не дожив до сигнального экземпляра чекистской книги — а ведь ты её, наверно, очень ждал?).

Это — в те дни я всё и написал. Я — поражён был твоей смертью: какая же короткая непрочная наша прогулка здесь! — ты даже за минуту, за единую минуту не знал о смерти и не мог подготовиться к ней. Ничем не болел, ни на что не жаловался — вдруг, дома у себя, в секунду рухнул, как от невидимого удара.

Я — в тоске тогда записывал и записывал, что только вспоминал о тебе, не всё, конечно, сюда вместилось. Я знал, что ты выпустил брошюру против меня, не читал, да что уж такого свирепого могло быть в той брошюре? Разрабатывалось, разрабатывалось внутри, вставляли картины, картины, и я записал: вот, потерял близкого человека, с которым столько связано. И помириться не успели. И как жаль его!

А теперь я вместо тебя держу в руках эту жёлто-клеймённую зловонную книжку (Ржезач сам выскочил, прислал её мне с развязной надписью, вот, мол, и познакомимся), теперь я понимаю — и что в той непрочтённой брошюре, и я хочу спросить тебя не за себя, я — прощаю тебя, жгло тебя многое в неудачной, расстроенной, обречённо-одиноким жизни. Но — за маму мою: она — так тебя любила, зачем же ты посмертно её оболгал?

Да впрочем, может быть, ты уже имел случай ответить ей сам.

И что́ я сейчас пишу и чувствую — ты тоже это видишь теперь, так что я мог бы и не писать.

Но что ты наделал, Кирилл? Ведь ты не меня облепил этой небылью — но гиблую правду нашей страны, которую враги человечества шесть десятков лет резали, жгли, топтали, топили — и вот черезсилно мы достаём её со дна — а ты помогаешь заляпывать опять. Помогал. Ради дара русской истории, поднимаемого из потопления, — я и вынужден, тобою и этими рогатыми, изневольнo, изне- нужно, длинно восстанавливать каждую клеточку прежде собственной своей жизни. Как жалко этого лишнего труда.

Да, Кирочка, конечно, твои письма, а тем более дев- чёнок, не шли в сравнение с моими и кокиными: мы-то с ним совсем были распоясаны. Нет, мы не писали прямо „Сталин” и „Ленин”, но — „Пахан” и „Вовка” в каждом письме. И — совсем не военные проблемы обсуждали мы, это сейчас он так для советского приличия прикашивает, сам же он и подал мне ещё в 41-м году эту несчастную для нас мысль: что военная цензура проверяет только военные вопросы, а в общефилософских рассуждениях нам никто не помеха — мы и пустились, пока дошли до „Резолюции № 1”: груди наши горели страстью политической. (Хотя Сума десяток раз за книгу и повторяет, что я „хладно- кровно и расчётливо послал Виткевича на 10 лет в лагерь”, но как ни вари, а масло сверху: цитирует следователя Езе- пова (стр. 94), и фамилия Виткевича пропущена среди тех, о ком следствие шло — потому, что там и вести было не- чего: фотокопии всех писем за годы лежали на столах го- товенькие, слишком ясные. Наша с ним судьба была доку- ментированно решена ещё до нашего с ним ареста. Витке- вич якобы удивляется: „Никому никогда не говорил о „Резолюции № 1” — так и я ж не говорил, а просто взяли в наших полевых сумках. И очень много игры, что у Коки „срок был тяжелей”: 10 лет лагерей, да, отпустили по три- бунальскому стандарту, но по тому же стандарту не дали пункта организации, и так не знал он Особлагов, не было ссылки, имел зачёты, освободился ранее 9 лет. А мне „организация” дала после 8 вечную ссылку, и не произой- ди государственных изменений, я б через 11 лет не освобо-

дился, а по сегодня б там сидел.)

Но и твои письма, Кирилл, на следовательском столе выглядели странно, двусмысленно, в той обстановке взывали к объяснению. Если я писал: „После войны поедem в Москву и начнём активную работу”, то ты отвечал: „Нет, Морж, мы лучше замкнёмся в тесном кругу и будем выбатывать внутри.” И следователь давил: как это объяснить? Или: какие несдержанные письма ни писал я вам, а Кока — Наташе, — никто из вас никогда ни словом не возразил, не отклонил, не смягчил, не остановил. (Ни при встрече в Барвихе.) Итак, припирало меня следствие вопросами: как это объяснить? Если вот так пишется в письмах, то что происходит при встречах и разговорах?

Я уже писал в „Архипелаге”: я отнюдь не горжусь своим следствием. Я к нему вовсе не был готов, я понятия не имел, что это такое. Это — не 70-е годы, когда молодёжь уже со студенческой скамьи прорабатывает самиздатские правила, как вести себя на следствии, во всеобщем распространении — бронированная этика, прошедшая закалку ГУЛАГа, и даже из тюрьмы бывает связь с волей, а то и с мировой печатью. В 30-е-40-е годы каждый из попадавших был ошарашенной одиночкой, даже слухом не знавшим о процессуальном кодексе, о своих правах — и каждый по своему разумению торил глухую неизведанную беспомощную тропу. (А ещё лежала на мне тяжесть захваченных „Военных дневников”, записанных фронтовых имён — ещё их и прежде всего их надо было спасти.)

После года-двух лагерей, наслушавшись рассказов, я-то понял: самое правильное было — послать следователя на Что захватили — то ваше, а что необъяснимо — то пусть вам леший объясняет. Но по моему тогдашнему жизненному опыту и тогдашнему разумению я рассудил так: сколько я знал и помнил, самое страшное — это соцпроисхождение. Десять и пятнадцать лет советской власти его *одного* было достаточно для уничтожения любого человека и целых масс. (И по сегодня из ленинских и других томов не изъяты прямые распоряжения подобного рода.) И этого троим из нас надо было бояться более всего: мне — из-за богатого деда, тебе — из-за богатого отца (да ещё живого и за границей, а ну, как это звучало тогда?), Наташе — из-за отца, казачьего офи-

цера, ушедшего с белыми. И если в поисках недостающих объяснений начнётся расследование — то какова опасность, что они нападут на эти следы? И вот я рассудил — пусть неверно, но совсем не глупо (думаю и сегодня): я поведу их по ложному пути, попытаюсь объяснить правдоподобно. Да, я признаю, что некоторое недовольство у всех у нас есть. (На языке МГБ это записывается следователем, ведь протокол ведёт он: „гнусные антисоветские измышления”.) „В чём же они? От чего они произошли?” — „Они появились от введения платы за обучение в ВУЗах в 1940 году и невысокого размера студенческих стипендий.” И — всё! И я скрыл все наши огненные политические беседы, свёл их к мещанскому брюзжанию, к животу. Все опасные письма — вас троих, не наши конечно с Кокой, — спустил на мещанских тормозах, только чтоб не искали происхождения и домашнего воспитания. Я не оставил им ничего существенного, за что б уцепиться. (Какие-то „конспиративные пятёрки как в белогвардейской организации ИТС” Чума с незадвинутым следователем Езеповым сочинили только сейчас.)

И что ж? Мне это совсем не плохо удалось: никого из вас не только не арестовали, но даже *ни разу не допросили!* По нашему делу никто невинный арестован не был, чему не порадуешься в миллионах дел ГУЛАГа. А ведь годы были лютые. (Через три года Решетовская прошла даже процедуру засекречивания.) И когда я потом об этом результате узнал, что была за радость: перехитрил я капитана Езепова! (Теперь — почётного пенсионера, как сообщает Сума.)

И — тебя не тронули, не коснулись. (Могло ли б это быть, если б что-нибудь из истинных твоих слов — о пытках 37-го, о кавказских горцах — промелькнуло бы на следствии? Не за такое хватали.) Не трогали тебя — 7 лет. А к 1952 ты, Кирилл, влип во что-то совсем другое, в Москве (я этого не знаю, может когда узнается). В апреле 1952 в экибастузском лагере следователь предъявил мне бумажку от районного (кажется, Щербаковского, но не ручаюсь) отделения ГБ Москвы — о том, что в связи со следствием, начатым против Кирилла Симонянца, поручается допросить меня, что мне известно об его антисоветских настроениях и подтверждаю ли я свои показания

1945 года? И тогда уже, бронированный лагерник, я и послал их на Я сказал, что всякие показания 45-го года являются вынужденной ложью, а всю жизнь я тебя знал только как отменного советского патриота.

И вот тут начинается басня о тетрадке из „52 пронумерованных страниц неподражаемо-мелкого почерка” — якобы моего почерка и якобы тебе предъявленных тогда в ГБ. Не знаю, что тут состряпано ими и что добавлено тобою. Но вот чудо: после 52 страниц — очевидно густых, по мелкости почерка, и уничтожающих обвинений, как ты пишешь, — следователь, возмущаясь гнусным оговором, ласково отпускает тебя гулять и дальше, да в каком году! — в последнем сталинском 52-м. (Может быть и цифра страниц оттуда соскочила?)

Кирочка! Ну, конечно, ты не мог знать, что в эти месяцы в Экибастузе пылала в зоне земля, что у нас был мятеж, перемещения тысяч, что было никому из нас до писания тетрадок из „52 пронумерованных страниц”, что я ещё, кроме того, в эти самые месяцы перенёс операцию раковой опухоли. Допустим, не мог ты догадаться, что в ГБ таких тетрадок и писать не дают, а каждая фраза должна быть вывернута самим следователем. Допустим, ты и предположить не мог, что почерки подделываются. Но знал ты отлично, что сажают по малому клочку — и не удивился, что тебя по пятидесяти двум страницам не посадили? Да и было ли там 50, они бы сами не стали надрываться больше страничек трёх. А может: только похлопали по стопочке издаля? перед носом помахали? — приём известный. Ты на самом деле — видел ли хоть что?

Но, Кирилл! Неужели сердце твоё, высота души не подсказали — что такой донос от твоего школьного друга просто невозможен? Высота души — предохраняет, защищает нас и от фальшивых людей, по их глазам, и от таких чекистских подделок, по их грязной хватке, которую наверно там было легко обнаружить — вот как сейчас легко обнаруживается грязная хватка во всей этой книге Кумы.

В те дни твоя судьба, видимо, качалась на весах, да. И получивши от меня ноль и даже минус все прежние мещанские объяснения (того истинного протокола тебе не показали?) — гебисты очевидно хотели взять тебя блефом — а ты легко глотнул ядовитый крючок, и в грудь свою

ввёл его навсегда, до самой даже смерти.

Значит — тебе не хватило высоты души. (Это её же не хватило тебе, чтобы сбиться как художнику. Это её же не хватило тебе, чтобы прочесть непредвзято „Раковый корпус” или устоять против очарования проходимца Сумы.)

А когда в 1956 я вернулся после лагеря, после ссылки, после рака — и от Лиды узнал, что ты на меня в претензии: как это так, утопая, я обрызгал тебя на берегу? (я думал — речь идёт о 1945 годе) — я тоже рассердился: я действительно утопал, я действительно умирал — и никто из друзей не протянул мне пальца. В тот момент — моя вина, может быть всё могло легко разъясниться при встрече. Но мы не увиделись.

А через полтора года было твоё 40-летие, и растеплилось сердце, и мы с Наташей послали тебе тёплую телеграмму (из Рязани, Кирочка, из Рязани, а не из каких-то подмётных городов, как плетёте вы с Сумой. А кстати: это он или ты пристраиваешь реального москвича Бершадера понимать как нашего ростовского доброго учителя Бершадского?). Ты — не ответил тогда.

А потом годы текли, сердца ещё прорастали — весной, может быть 68-го, ты вдруг написал примирительное письмо — что надо встретиться, помириться. Я ответил сразу с радостью. В короткой переписке уговорились о дне, часе, когда я приеду к тебе на Серебряные Пруды. Приехал. Звоню — а тебя нет, никто не открывает. Ладно. Пошёл сидеть на скамейке перед парадным, чтобы не пропустить. Час прошёл — не идёшь. Поднялся, позвонил — нету. Опять спустился, ещё полчаса просидел — нету. Написал записку: подробно, как ехать ко мне в Рождество, в любой день, приезжай. Снова поднялся, позвонил — нет ответа. Тогда отклонил заслонку дверной почтовой щели, бросил письмо там на пол — но ещё не успел отпустить заслонку: как прямо внизу, у двери, увидел ноги твои в пижамных брюках. Ты стоял, затаясь. Я опустил заслонку, не стал окликать. Если тебе так легче... Если тебе...

Та́к вот. Не объяснились, не помирились, не повспоминали...

Потом — ты изобрёл мои обмороки от самолюбия,

потом — брошюра. Потом — беседы, беседы с Сумой и ожидание сигнального экземпляра.

Господи! Да будет земля на могиле твоей — пухом. Твоей прожитой жизни — не позавидуешь.

Но вперёд, вперёд, наша история! Неправдоподобными признал Сума даже обстоятельства моего ареста (хотя там десять человек стояло). Один раз отваживается применить хронологию, чтоб меня поймать, но поймал сам себя: насчитал моего следствия 9 дней вместо трёх с половиной месяцев — проговорясь, что по-чекистски искренне считает *следствием* только пребывание в застенке, в одиночном боксе, а камера из 4-х человек, откуда ночью дёргают, э-это уже не следствие. Затем сообщает Чума, что я „расположил к себе трибунал” (которого вообще не было, приговор по ОСО). Теперь подошла тема: как я вёл себя в лагере? Однако, это целых 8 лет и много разбросанных мест, и с тех пор прошло 30 лет — как бы Сума повествовал мои тюремные годы, не знает, но к счастью я сам же в „Архипелаге” и подал им вербовку в лагерные стукачи. Ну, что может быть блистательнее! Ну, как раз к цветку! — вот это и будет сюжет. Отпирается, что не писал доносов? — так для ГБ легко это разоблачить! Работа немалая, но и автор „Архипелага” враг немалый — свистнуть всем оперуполномоченным и архивариусам лагерей, где Солженицын сидел: просматривать все доносы за те годы, и как только найдутся за подписью Ветрова — так вынимать, соединять — и издать отдельной книгой. (Даже всей книги Сумы тогда не надо.)

Увы, увы, вот это-то самое трудное и есть — как эти доносики изготовить? К 1976 они такую книгу и сочинили, да слишком топорно, чуть высунулись — и провалились. Каково сочинять эти новые сюжеты с утерянными людьми, в утерянные даты, при утерянных обстоятельствах? Вот высунули „донос” об экибастузском мятеже — объявил я им вслух: „есть просчёты в лагерных реалиях”. Ну, соберите же свой исследовательский коллектив, ну поищите просчёты в лагерных реалиях. Нет! Так за два года и не сделали ничего! И самого крупного не нашли: что украинцев за 2 недели до мятежа увели в другую зону, они

в мятеже и не участвовали. Да прямо бы „Архипелаг” почитали, там всё написано (том третий, стр. 265), — так и читать ленятся, скотины! И Сума опять по той же дорожке носом тянет: что провалил я мятеж западных украинцев, это — стержень его сюжета.

Ну что ж, доносов не собрали (Сума и не лепит, что хоть один нашли, и того высунутого в 1976 не поминает), и нет пострадавших, и нет обиженных — но доказательства могут быть косвенные, лирические.

Например: в том лагере, где его вербовали, прожил Солженицын несколько месяцев — и вдруг взят в систему шарашек. Ну, разве это не доказательство? И чьё бы тут привести наиболее веское суждение? А — Якубовича. Сам он технической специальности не имеет, на шарашках никогда не бывал и косвенно их не касался — вот „он и будет главным свидетелем обвинения” по этому вопросу. Итак, товарищ Якубович, как вы объясняете, что на шарашку, куда берут только с высшим образованием, взяли Солженицына („Архипелаг”, том первый, стр. 582) с его университетом? Ведь это невероятно? И Якубович по сценарию отвечает: „В высшей степени неправдоподобно.” И Сума: „Солженицын направлен в марфинский институт как секретный информатор, это непреложный факт.”

Но это замечательно! Ведь теперь легко проследить за его предательской трёхлетней работой в Марфине! Уж тут свидетелей и пострадавших десятки, и все образованные люди, и все в Москве живут, да вот, пишет Сума, беседовал с Лёвой Копелевым — и что ж не спросил у него? Да Марфино — центральная спецтюрьма КГБ, уж архивы наверняка все тут рядышком, на Лубянке — а ну-ка, потроши сюда доносики, а ну-ка вытягивай это советское пособничество на советское честное солнышко!

Увы, и здесь почему-то не наскреблось. Да и новая загадка: Солженицына с шарашки усылают — и в Особый каторжный лагерь. Ну, тут совершенно понятно: очередная награда ему за удачную информацию и новое ответственное задание: запутать щупальцами Особый лагерь.

Но тут понадобятся новые свидетели, откуда ж бы их наскреести? Послать в Экибастуз доктора Симоняна? Нет, расстроятся другие части сюжета. Ба! Да этапировать туда Виткевича! Правда, он как раз остался на шарашке (но об этом Сума молчит, ибо что ж тогда? — тайный информатор?), а в Особлаге никогда не был (и быть не мог, имея лишь статью 58-10) — неважно, этапировать, пусть перенесёт эти неудобства. И теперь — кто же расскажет нам о том, что это был за лагерь? Да именно и только он! (117, „Стенограмма беседы с Н. Д. Виткевичем, личный архив Ржезача”.) Заодно он же охотно и подтвердит ещё раз, что „Архипелаг” — лагерный фольклор.

Однако, Солженицын там, кажется, будет лежать в больнице,

так что без доктора всё равно не обойтись. Где ж бы нам найти доктора, если Симоняна неудобно? Да выход один всегда: листать книги Солженицына. В „Раковом корпусе” и в „Архипелаге” находится доктор Николай Иванович Зубов, отлично! Вот мы его в Экибастуз и посадим. Но он никогда в жизни там не сидел! Неважно, ему 83 года, он совершенно глухой и в месте живёт глухом — опровергнуть не доберётся.

Листаем Солженицына дальше. Кавторанг Бурковский. Очень советский человек, допросим его. (Ценнейшее показание: когда в 1954 в Особом лагере ввели самоуправление, то Солженицын — уехавший в ссылку в феврале 1953 — „на одном из собраний повёл себя как типичный провокатор”, 124).

Ещё листаем. Описывает („Архипелаг”, том третий, стр. 109-112), как в темноте вели его в БУР на обыск и он выбросил записанный стих, а потом в тревоге искал его. Выбросил и искал? Ну, ясно, что — донос!

Так железное кольцо вокруг Солженицына смыкается. Теперь бы ещё изобрести старого лагерного волка, но честного советского направления, пусть его фамилия будет Доронин (молодой человек из „Круга”). Такого Доронина среди знакомых Солженицына сроду не было, так и показания дадим ему самые общие: Солженицын восхваляет американский образ жизни, Солженицын читает все советские центральные газеты (и как его не вырвет?). Да нет, ещё лучше: пусть он никакой не каменщик, а пусть он экибастузский лагерный библиотекарь. Он живёт в каторжном лагере „почти как на свободе”. И даже в столовую с Иваном Денисовичем никогда не ходит, а в какую-то совсем другую и на особые деньги от начальника лагеря, а начальник лагеря (ОЛП, 5 тысяч человек) — старший лейтенант Рябов (116). Нужды нет, что старший лейтенант таким ОЛПом заведывать не мог, а был майор Чередниченко. (О таких подробностях и Кума не обязан знать, потому что ведомство МВД — не его, а параллельное.)

Наконец, я не выдерживаю: можно дать маху один раз, пять раз, десять раз — но чтобы непрерывно пересаживаться задним местом из лужи в лужу, — министр госбезопасности! за что вы платите зарплату этому идиотскому отделу?! Потом, слушайте, коллектив, известный же рецепт: чтобы вам верили, надо же иногда для правдоподобия добавлять и кусочки правды. Что же вы, как ошалелые, лепите всё чучело из одной бреховины?

А, вот что ещё ухватил Сума: „Самый существенный факт, который подтверждают все, кто знал Солженицына в заключении” (Симонян? Виткевич? Каган? Якубович? Зубов? увы, никто из них — да и не был там никто, ни даже мифический Доронин), „не заметил его только Д. М. Панин: за день до лагерного бунта Солженицын исчез — его неожиданно перевели в тюремный госпиталь.”

Ах, проклятая хронология, ведь опять без неё, всё это протекает когда-то вообще, а дни вот какие: стрельба охраны по безоружному лагерю и избиение беззащитных — 22 января 1952 года (по старому стилю — 9 января, „кровавое воскресенье”). 23 января —

частичное начало забастовки, тех барачков, где есть убитые. 24-25-26 января — три дня голодовки-забастовки всего лагпункта. 27-го — мнится победа, администрация заявляет, что требования будут выполнены. 28-го — опрос требований и собрание бригадиров, где я выступаю. 29-го я уйду в больницу на операцию раковой опухоли, которую мне и делают 12 февраля. Д. Панин потому и „не заметил” моего исчезновения перед мятежом, что всю голодовку мы провели с ним в одном бараке, где ещё 26-го он отважно призывал заключённых не сдаваться.

И тут Сума из двух блистательных объяснений выбирает не лучшее: да может быть ни в какую ни больницу? да может никакого рака не было? „Ведь могли его „упрятать” как стукача и в карцер, вместе с другими!”

Сума, Сума! Ау! Ату! В духе теории профессора Симоняна и в художественной целостности этого виртуозного интригана, спирально-го изменника Солженицына: рак — это был „приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий”. Ату его! Какая возможность пропущена!..

Ну, впрочем, и вечная ссылка, оборванная ХХ съездом, пропущена тоже, она Суме не подходит. Но ошибётся, кто подумает, что с окончанием тюрьмы окончились неугомонные интриги этого многоликого двурушника. Нет, они только начинались! И развивалось дело так: из лагеря Солженицын вывез „горы исписанных бумаг” (120), может быть и доносов? Сума не ссылается на свидетелей, но ведь каждый ребёнок знает, что из любого советского концлагеря вывози своих рукописей сколько хочешь. А дальше? „Сразу же по выходе стал затевать хитроумные политические и иные интриги и козни, активно готовиться к антисоветским выступлениям.” То есть, так понять, что в казахстанской ссылке Солженицын повернул фронт, изменил советской власти и стал лихорадочно подрывать Союз советских писателей, Союз журналистов, Советурист, Интурурист, АПН, КГБ, ЦК и даже СССР. И для этого, после ссылки, он ринулся в самые кипучие московские круги? О нет, гораздо хитрей: „Александр Исаевич поселился не в крупном городе, а в захудалом уголке Владимирской области... Как? И он согласен жить вдали от издательств и редакций?.. Неужели он не хочет видеть огни больших городов, людей, улицы, магазины, трамваи?” (тут очень искренно звучит у Сумы, ему действительно трудно представить). Но даже на этом загадки лишь начинаются. Сатанински хитрый Солженицын теперь

изобретает видимость „подпольного писательства”, совершенно ненужного и фальшивого. Ведь „почти всё, что Солженицын тогда написал, было опубликовано” (139) (правда на Западе). Ну, какую опасность для Солженицына могли представлять изложенные тогда из памяти на бумагу или написанные вновь: „Пир победителей”, лагерные поэмы и стихи, „Прусские ночи”, „Декабристы без декабря”, сценарий о лагерном восстании и „Круг первый” в его истинном варианте (похищение атомной бомбы)? „Солженицынская версия о мотивах его подпольной литературной деятельности просто непонятна.”

Бы! Была бы непонятна вся эта конспирация — если бы не проницательный Сума! „Солженицын всю жизнь боялся, что придёт Некто и расскажет, как всё было в действительности.” И вот — пришёл Некто из Чехии и теперь всё начисто объясняет: да не от Госбезопасности Солженицын прятался, кто ж от неё в СССР прячется, зачем бы? А вы забыли, что Солженицын погубил мятеж бандеровцев? Так вот от них он и прячется все годы, а делает вид, что прячется от КГБ. Да тут может Кума оценить: „Его меры конспирации бесполезны против профессиональной государственной организации”. Уж этой-то организации возможности наш Чума знает превосходно.

Но — и ещё гораздо, гораздо хитрей: Солженицын так хотел устроить, чтобы КГБ же и стерегло его от бандеровцев!! Так тогда, старому доносчику, — пойти и прямо просить защиты у КГБ? Э-э, нет, это было бы слишком прямолинейно. Нет, гораздо хитрей! „При плотно зашторенных окнах и замкнутых дверях он строчил пасквили. С его стороны это был вызов: он хотел таким образом привлечь внимание сотрудников КГБ: „Вот он я, опасный антисоветчик, стерегите меня!” Но КГБ не реагировал. Надзор, о котором мечтал Солженицын, был равен нулю” (143).

Ах, что делает ненависть и досада от упущенного! Совсем закружился коллектив КГБ, и змея уже кусает свой собственный хвост и даже от досады перебирает зубами ещё дальше по хвосту: КГБ-то вёл себя благородно, надзор был равен нулю. И ещё можно было бы простить Солженицыну все его мерзости до сих пор. Но он, негодяй, стал выбрасывать чекистам приманки на крючках,

чтоб это благородное учреждение клюнуло.

Начал с того, что чемодан с частью своих пасквилей забросил к некоему Теушу. „Этот Теуш был одиозной фигурой. Говорили (? в КГБ?), что он — теософ, связанный с сионистами”. Поэтому и за ним надзор КГБ был равен нулю. Но „в один прекрасный день в аэропорту при обычном таможенном досмотре был задержан иностранец, который вёз на Запад сочинения математика Теуша”. СССР — ведь это не концентрационный лагерь! из него нельзя так свободно вывозить рукописи, как из лагеря. (Но — и опять всё ложь: ни иностранец не назван, ни дата, ни рукопись. А просто: через стенку Теуша в квартире на Мытной улице давно было просверлено подслушивание и подсматривание.) И вот только из-за этой математической рукописи „сотрудники КГБ получили ордер на обыск в квартире Теуша. Однако никто там не искал сочинений Солженицына. Уже уходя, офицер КГБ вдруг заметил в прихожей (в единственной жилой комнате) маленький чемоданчик” (метр на 75 см, а весом с пуд). Вот это-то и был отравленный крючок, который доверчивое КГБ проглотило — и стало жертвой всех последующих литературных скандалов. Да даже сегодня, уже через столькие годы, в гебистском отделе стучат по груди, и обидно подумать: ну хорошо, ну отобрали у тебя чемодан рукописей, ну пойдешь по-хорошему попроси, извинись — хочешь в КГБ, хочешь в прокуратуру, да хоть просто в партийные органы. Что за нужда была прятать какой-то „Пир победителей” — „чудовищный по своему содержанию, с грубой клеветой на социалистический строй, с издёвками над подвигами победителей” (153)? „Он знал, что с ним ничего не случится” (152). „Всё именно так и было задумано Солженицыным: чтобы органы КГБ нашли рукописи, а он, не подвергшись наказанию, получил бы повод устроить скандал”. Конечно, „пришлось познакомить советского читателя с содержанием этой пьесы”. (Если по книжным магазинам судить, то незаметно. А было — закрытое заседание при ЦК, и с партийных трибун говорили: за такую пьесу — расстрелять.) Итак: это ничем ему не грозило, но он понял, что провалился. И тогда он затеял письмо съезду писателей (которое имело такие нехорошие последствия на родине Сумы, да сам же Сума на своём съезде в эти щипы и попал).

Переведу на мгновение дух. В этой книге выше я описывал, как в своём подпольи, под мозжащим растоптом КГБ, я спасал рукописи, маневрировал, искал новых убежищ, где хранить, где дописывать неоконченное. И когда те вихри прожигали мне голову, мог ли я думать, что через 13 лет придётся почитать отчёт самого Голиафа КГБ — что́ они думали с другой стороны, как растравно они подосадают, что не раздавили меня, когда это был бы беззвучный хруст: кто там заметил в 65-м году конфискацию моего архива? долго ли помнил бы Запад исчезновение автора „политической прохрущёвской” повести?

В истерической раздёрганности (нарочито, для скрыва и подделки), пируэтами ассоциаций, то возвращаясь, то забегая, то повторяя, легко смешивая разные годы, перевирая любые приметы и обстоятельства, и повсюду прыскавая пакостью, накидывает Сума обо мне ещё много всякой дребедени.

Вроде того, что:

- все школьные пятёрки Солженицына получены искусственными обмороками;
- в детской мушкетёрской игре он был, конечно, Арамисом (опять неувязка с Решетовской, у которой Арамис — Симонян);
- от Хрущёва получил в подарок автомобиль (именно тот самый, который раньше был „дар британского империализма”);
- воровал картошку у нищей колхозницы;
- очумелый распутник, хватал учениц, домогался старушек и дрался с обманутыми мужьями;
- женился на своей крестнице (пущено о. Шпиллером, а здесь произносит ревнитель православия меньшевик Якубович);
- поносил и смешивал с грязью решительно всех подряд: вылечивших его врачей, Александра Твардовского, Андрея Сахарова и даже — даже! — братцев Медведевых, Жореса и Роя (к этим через книгу Сумы протянуто большое уважение, разделяемое и советскими властями);
- подкупал швейцарских школьников бороться против корреспондентов (это их стихийный протест „Оставьте Солженицына в покое!”);
- не понимает смысла русских слов, какие употребляет на бумаге;
- в „Августе Четырнадцатого” „подвергнуто нападкам всё русское” (особенно дорогое ленинской партии и ЧКГБ).

И много ещё наворочено.

Как говорится, от тюрьмы да от Сумы не отказывайся.

Поплатись за правду, поплатись и за неправду.

Хорошо, что я успеваю сам ответить. А сколько жертвы ЧКГБ безнадежно оболганы при жизни и после смерти, и уже никогда не могли очиститься — и сможет ли кто за них?

О, потомки, будьте осторожны в суде над теми, кто жил на Руси в эти страшные советские 60 лет.

Но ещё ж история с Нобелевской премией. Известно, как её обычно получают (если не ворует чужих романов): громко протестовать! и протестовать! и протестовать! (Как видит мир по всем примерам, в Советском Союзе это особенно безопасно.) „Протестовать, ничем не рискуя. Исключён из союза писателей? — не беда!.. В Советском Союзе он — как у Христа за пазухой” (так и написано, стр. 155). Просто — разгульная безопасность.

И — разумеется, получает Нобелевскую.

Ну, чёрт с тобой, получил — так уезжай по крайней мере! Так нет, „Солженицын вновь прибег *хотя и к ненаказуемому (!!!), но одному из самых грязных трюков своей жизни*: он вообще не подал никакого заявления относительно оформления паспорта и визы” (! стр. 156, буквально, только курсив мой — А. С.). Вот этим трюком я более всего и ранил измученное сердце КГБ.

Но и на этом не остановился наглец: теперь он решил публиковать „Архипелаг”. „И незачем кивать на цензуру, бюрократов, на ограничения” — книгу „Архипелаг” ему удалось издать. Но каким опять подлейшим трюком! Уж ЧК ли, ГПУ, КГБ не знает трюков? Уж кто тогда и знает! Но Солженицын опять умудрился подкинуть заманчивый крючок: чтоб КГБ же и двинуло „Архипелаг” в печать! И как же этот крючок закинут? А очевидно, что КГБ *получило анонимный донос на хранение „Архипелага” — от самого Солженицына!*

Среди читателей могут оказаться детективно-тупоумные и начнут задавать наивные вопросы:

— что ж за странный путь печатать „Архипелаг”, отдав его в КГБ?

— а если отдавать, то не проще ли самому, своими ногами, и отнести его?

— и с какой же целью Солженицын, уже и так удрученный КГБ, ещё отдаёт им против себя „Архипелаг”?

Да он же знал, что советское правительство, по своему бесконечному добролюбию, за такую лёгкую книжицу не станет его ни в тюрьму сажать, ни убивать. (Сегодня в СССР сажают тех, кто её только читает.) Сума даже приводит мой прогноз (впрочем, уже в петле, через месяцы после провала) из „Телёнка” (Четвёртое дополнение, стр. 414), подсудно перевирая его в нескольких местах. Например, у меня написано: „убийство? пока закрыто”. Он подделывает: „убийство — исключено”. (Коммунисты не убивают!)

Однако, сегодня, когда собралось фактов больше, чем в 1973 году, я должен сказать, что по нашему делу КГБ — своё убийство совершило. Тогда, в завороте события, мы ещё мало знали обстоятельства гибели Елизаветы Денисовны Воронянской. И я написал только: соседка по квартире сама не вызывает доверия, варианты её рассказа противоречат версии о самоубийстве. Есть большие основания подозревать и убийство, если боялись, что Воронянская сообщит мне (Третье дополнение, стр. 374). Но что дальше потом выяснялось — всё клонится именно к убийству. Больная хромая 67-летняя Воронянская (кагебистское перо не стесняется приписать её мне в любовницы) жила в Ленинграде на улице Роменской 4 в страшном доме из Петербурга Достоевского с чернейшей жуткой лестницей и в коммунальной неандертальской квартире-пещере. И вдруг из этой квартиры рабочую семью переселили в хорошую отдельную, а в одну из неандертальских комнат вселили, как оказалось... племянницу немалого прокурора. И вот эта-то племянница прокурора была источник всех сведений о „самоубийстве”. И она же, очевидно, открыла квартиру тем, кто должны были войти, когда Елизавета Денисовна порывалась сообщить нам, что хранение „Архипелага” названо.

В книге морга было записано — „механическая ас-

фиксия” (удушение). Труп никому не показали. После события всех соседей расселили неизвестно куда, и пустую квартиру забили.

Так Вороньянская легла ещё одной жертвой Архипелага, хоть и не побывала на нём самом.

Что могли — всё сделали. Всесоюзным приказом сожгли „Ивана Денисовича” с „Матрёной”. И одежду мою, отплёвываясь, сожгли в лефортовской печи. И вырыгнули уже которую книжёнку — мне в анафему.

Но как в пещеру к Вороньянской неотвратимо вкрались они душить — так и в их охоронённые палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обуви ЧТЗ.

И — заметались.

Вермонт

Сентябрь 1978